

на все наши предосторожности, на станции Куанченцзы за нами увязался шпион, но мой белокурый парик и деланный вид легкомысленной особы вывезли меня и на этот раз, и мы благополучно перешли границу.

Мы отправились в Дайрен. У меня не было достаточно денег, чтобы отправиться в Европу, и мы оставались 3 недели в Дайрене, пока не получили денег из России.

За эти 3 недели мое здоровье значительно поправилось. В эти чудесные дни, когда солнце востока согревало меня своими ласковыми лучами, я думала, что не было существа счастливее меня. Я была свободна, свободна от цепей. Только тяжелым камнем давило душу воспоминание не о лично пережитом, даже не о наших общих неудачах на революционном фронте, а о том, что позади меня там, в страдающей от деспотизма России, осталась большая часть моего сердца, моей жизни — мои товарищи, с которыми я проходила наш общий путь самоотверженной борьбы и скорбный путь невыносимых страданий. Они оставались еще в каторжных тюрьмах, в лапах царских палачей Метусов и Бородулиных. Как хотелось скорее вырвать их из этих ненавистных лап!

И я поехала в Европу с твердым решением отдать все свои силы на их освобождение.

В этих новых переживаниях, в охватившей меня новой радости и жажде жить и бороться, я черпала новые силы и бодро пошла вперед, навстречу желанным дням борьбы.

От издательства

Не позволяй книгам гнить на полках! Помни, что для их производства нужно срубить деревья, изготовить бумагу, и приложить немалый труд, чтобы превратить ее в книгу! Поэтому здорово, если после прочтения книги, ты подаришь её, или дашь почитать кому-нибудь из друзей и знакомых!

<http://goodbooks.noblogs.org>

Немного слов о книге и о самой Мане Школьник...

Рассказ дает нам представление о неопишуемой нищете народа, когда крестьянина сажали в тюрьму за то, что он осмеливался нарубить дров в лесу, а рабочие проводили каждый день по 12 часов на фабрике в ужасных условиях за копейки, которых едва хватало, чтобы выжить. Ужасы тюрем и каторги, жестокости и террор царского режима с одной стороны, и, с другой - невообразимые подвиги людей, их отвага и солидарность, дружба и взаимовыручка, прошедшая через пытки, годы тюрем и каторги, гибель друзей и постоянную смертельную опасность, - все это автор книги знает не понаслышке

Трогательность и искренность описанных событий поражают до глубины души, ничуть не хуже самых драматических романов, особенно осознавая, что это не выдумка, и такую жизнь провели тысячи людей в борьбе за свободу.

Мария Школьник (1882-1955) – революционерка, вышедшая из бедной крестьянской семьи. «Милая мама, если бы ты знала, какое время наступит скоро! Не будет больше, ни богатых, ни бедных», - говорит 15 летняя девочка, начав тайно обучаться грамоте, когда мать часто была ее за пристрастие к чтению. В 12 лет она отправляется на заработки в город, где принимает участие в забастовки за десятичасовой рабочий день, за это ее увольняют, но это только закаляет совсем еще молодую девушку.

«Я не в силах больше видеть нашу бедность. Я хочу уйти и узнать, как можно сделать нашу жизнь лучше», - говорит она отцу, и отправляется в Одессу, где начинает свою революционную деятельность с агитации на фабриках. Но вскоре Маня была арестована, подозреваемая в попытке организовать типографию, и сослана в Сибирь, откуда бежала и после ссылки стала убежденной террористкой, участвовала в подготовке покушения на двух губернаторов, обе попытки провалились. Покушение на губернатора Хвостова, отличившегося особой свирепостью в усмирении восставших крестьян, – удалась частично. Школьник удалось взорвать Хвостова, но он выжил. Сама революционерка была ранена взрывом, схвачена и приговорена к смертной казни. За несколько минут до исполнения приговора казнь заменили пожизненной каторгой.

Проведя 4 года на каторге, почти умирая, она смогла сбежать и в 1911 году уехала из страны. Октябрьская революция позволила ей вернуться из эмиграции.

ГЛАВА 1

Маленькая деревушка Боровой-Млын, в которой я родилась, состояла приблизительно из тридцати хат — низких деревянных строений с соломенными крышами. (Стены их с внешней и внутренней стороны были оштукатурены и выбелены известкой). Все хаты стояли в один ряд и образовывали единственную в деревне улицу. Здесь проходила широкая, пыльная дорога — место для собраний кудахтающих, хрюкающих и лающих членов общины. Дальше было расположено общинное пастбище — длинная, узкая полоса земли, идущая вдоль высокого берега маленькой речушки — Окены. Позади хат находились маленькие огороды, окруженные низкими плетнями, а за ними далеко — как только мог окинуть глаз — тянулись поля.

Наш дом стоял на самом краю деревни. Это была старая, полуразвалившаяся хата. Два маленьких окошка находились очень низко над землей, и в зимнее время снег ложился высоким сугробом против них, заслоняя слабый свет, проникавший сквозь двойные рамы. Большую часть года разбитые стекла заменялись картоном для защиты от пыли, которая поднималась облаками и проникала в дом каждый раз, когда по дороге проезжала телега. Соломенная крыша почернела и продырявилась от старости. Когда шел сильный дождь, вода протекала насквозь и образовывала лужи на глиняном полу.

Как все крестьянские жилища, наша хата разделялась темным проходом на две половины. Одна половина служила для жилья, другая была сараем, где находились лошади, коровы, сельскохозяйственные орудия и продукты. Комната для жилья была большая, квадратная. Один угол был отгорожен длинной красной занавеской. Это был спальня родителей. Там стояли две кровати и люлька. Убранство остальной части комнаты составляли большой стол и скамейки, стоящие вдоль стен. На другом столике стоял медный самовар и пара серебряных подсвечников — единственные ценные предметы в нашем доме. Огромная печь, сложенная из кирпича, занимала значительную часть комнаты. Кроме обычного назначения, эта печь имела еще другое: в холодные зимние ночи она служила теплой постелью, и дети нередко дрались за привилегию спать на ней. В этой

После нескольких часов тревожного ожидания я получила ответ: за мной явится офицер. Вскоре он пришел. Это был И.Е.Колосов, брат Евгения Колосова, известного с.-р. Сначала я подумала, что это один из товарищей, переодетый офицером, но оказалось, что это настоящий офицер местного гарнизона.

— Вы знаете, — сказал он, — полиция очень энергично ищет вас. Они даже выписали знаменитую ищейку “Реке” из Киева. Вообще в городе о вас ходят самые разнообразные и интересные слухи. Говорят, что в день побега вы скрывались в доме генерал-губернатора.

Он повез меня на квартиру своего товарища офицера, А.М.Рыбакова, которая находилась недалеко от тюремной больницы. Не могу не отметить здесь геройского поступка этих двух офицеров, которые вполне понимали, что им грозит в случае моего ареста. По их настояниям, я часто ходила по вечерам гулять с ними. Раз Рыбаков приходит домой и говорит мне: — Вы слышали? Говорят, что вы уже уехали в Швейцарию.

Он рассказал мне, что под каким-то предлогом пошел к жандармскому полковнику и завел с ним разговор обо мне.

— Как объясняете вы тот факт, — спросил он жандармского полковника, — что Школьник еще не арестована?

— Очень просто, — отвечал тот. — Она давно уже в Швейцарии, и мы ждем известия о ней от наших заграничных агентов.

Я провела около 10 дней в обществе этих офицеров. Было небезопасно дольше, оставаться у Рыбакова из-за денщика. Несмотря на строгое приказание не говорить никому о “даме из Вены”, которая остановилась в их доме; несмотря на всегда готовый ответ: “так точно, ваше благородие”, ему нельзя было доверять: искушение поделиться интересной новостью с товарищами солдатами было слишком велико. Поэтому меня перевели на другую квартиру по указанию Ф.Н.Мерхалевой, служившей фельдшерницей на переселенческом пункте. С ее помощью товарищи Тюшевский и Нахманберг составили план отправить меня в качестве сестры милосердия в переселенческом поезде, шедшем на Дальний Восток, и Мерхалева взялась выполнить его. Деньги для моей поездки за границу достала А.Е.Тюшевская.

Поезд на восток уходил в 8 часов вечера. Я пришла на станцию за несколько минут до отхода (поезда) и прошла прямо в вагон. Эти несколько минут показались мне вечностью. Наконец, был дан последний звонок, и поезд тронулся.

В Манчжурии я встретила с тов. Нахманбергом, который должен был помочь мне перейти границу. Мы поехали в Харбин, где тов. Нахманберг достал настоящий паспорт фельдшерницы санитарного отряда. Несмотря

Если тебе придет в голову выдать ее, то ты ответишь мне своей головой. И он заставил мальчика поклясться не выдавать меня.

В два часа ночи мне удалось уложить его. Я не спала всю ночь. На следующее утро хозяин просил у меня прощения, а вечером повторилось то же самое. Я знала, что мне нужно уйти из этого дома, что я не могу оставаться в таких условиях; но я не знала ни одного места, куда бы я могла пойти.

На третий день мой хозяин ушел, заперев меня, как обычно. В 12 часов я встала, намереваясь приготовить чай. На полу возле окна стояла спиртовка и бутылка со спиртом. Зажигая фитиль, я локтем опрокинула бутылку и спирт моментально вспыхнул; я едва успела отскочить.

Пламя охватило занавеску, и огонь мог быть виден; с улицы. Комната наполнилась дымом, а дверь моей комнаты была заперта. Один момент мне казалось, что настал конец. Но, опомнившись, я стала кидать на пламя все, что могла найти в своей комнате, и с большим усилием мне удалось погасить огонь. Я боялась, что внизу могли услышать шум моей борьбы с огнем, и сидела в страшной тревоге. Наконец, пришел мальчик, и я решила послать его к товарищам. Мысль об этом уж давно занимала меня, но было очень рискованно верить свою жизнь в руки ребенка. Кроме того, мне нужно было уйти из дома так, чтобы его отец не мог знать ничего о моей дальнейшей судьбе: я чувствовала, что не могу больше полагаться на пьяницу. Но раньше, чем я успела отправить мальчика, явился его отец. Он был так пьян, что едва мог держаться на ногах. Он даже не заметил следов пожара. Он подошел к окну, открыл его и начал кричать прохожим, сопровождая свои слова страшными ругательствами:

— Знаю я вас! Шпионы, шпионы вы все!

Я оттащила его от окна. Тогда он уселся возле меня; я чувствовала его горячее дыхание на моей щеке. Его глаза были налиты кровью. Я видела, что этот человек совсем потерял рассудок. Я встала. Он схватил мои руки и начал целовать их. Я старалась освободиться и началась борьба. Мальчик услышал шум в комнате и вбежал к нам. Его внезапное появление остановило пьяницу, который выпустил меня и принялся колотить мальчика. Это было ужасное зрелище; все мои усилия вырвать мальчика из рук отца были напрасны. Наконец, пьяница упал на пол и скоро, к великому нашему облегчению, заснул.

На рассвете я разбудила мальчика и попросила его отнести записку к тов. Тюшевскому. Мальчик понимал серьезность миссии, которую он принимал на себя. Прежде, чем идти с моим поручением, он взглянул на своего спящего отца и спросил меня: — Вы не боитесь оставаться с ним?

комнате я в один сентябрьский день 1885 года впервые увидела свет. В этом доме я провела первые четырнадцать лет моей жизни.

Шестнадцать десятин скудной, большей частью глинистой земли и крытая соломой хата — таково было имущество, которое мой дедушка оставил своим пяти сыновьям и двум дочерям*.

Я не знаю, как наследники поделили меж собой это “богатое” наследство, но со временем отец и один из моих дядей остались единственными владельцами пятнадцати десятин. Они были старшими сыновьями и были уже женаты. При позднейшем дележе восемь десятин и дом перешли во владение моего отца.

• * *Мой дедушка поселился в Боровом-Млыне, деревне Виленской губернии, в 1851 г. Правительством давало еврейским колонистам земледельцам некоторые привилегии, в том числе освобождение от воинской повинности. В то время воинская повинность от бывалась в течение 5 лет, и жизнь солдата была страшно тяжелая. Немногие возвращались на родину. Чтобы спасти своих сыновей от военной службы, мой дедушка стал крестьянином.*

Наше имущество, кроме земли, состояло из двух коров, одной или двух лошадей и дюжины кур. Когда урожай был хорош, восемь десятин приносили зерна и картофеля столько, что хватало на весь год. Но вследствие примитивных способов обработки, которыми пользовался мой отец, или недостаточного удобрения, или засух, которые нередки в нашей стороне, хорошие урожаи были скорее исключением, чем правилом. Я помню молитву, которой меня выучили, когда мне было четыре года: “Боже, пошли нам дождя, ради маленьких деток”. Каждое утро перед нашим скудным завтраком мы складывали ручонки и повторяли эту молитву. Но бог оказывался жестоким: засуха сжигала наши поля, и всю округу постигал голод. Тогда отец уводил нашу любимую корову в город и продавал ее там. Вслед за тем такая же судьба постигала и другую корову, и тогда мы оставались без молока.

Однако цены на необходимые продукты были так высоки, что вырученных таким образом денег не хватало. Тогда отец уходил искать работы и целую неделю жил не дома. В субботу вечером семья с нетерпением ждала его возвращения. Комната принимала праздничный вид: стол покрывался белоснежной скатертью, горели свечи, в углу стоял только что вычищенный самовар. Но отец садился, не говоря ни слова, на лице его не было обычной ласковой улыбки, и мы понимали, что он ничего не заработал и был этим огорчен. Молча мы садились вокруг стола, на котором мать готовила ужин. Но на этот раз на ужин не было мяса, как это бывало обычно по субботам.

Действительно, было крайне необходимо заработать хотя бы немного денег, чтобы покрыть скромные расходы нашего хозяйства. Несколько десятин земли, которыми владел крестьянин, не приносили достаточно дохода, чтобы прокормить большую семью и платить налоги. Наша деревня находилась на расстоянии, приблизительно, двух верст от маленького городка Сморгони, где имелись кожевенные заводы, портняжные мастерские и другие предприятия. В нашей среде ребенок в восемь лет считался уже работоспособным, и его посылали на работу в город. Он обучался у портного или сапожника или даже поступал на завод. Немногие имели возможность посылать своих детей в школу. Приходская школа, которая должна была просвещать обитателей, могла похвалиться не больше, чем десятком учеников. Их обучал деревенский священник, который был очень мало сведущ в делах воспитания. Кроме того, он был занят другими, более важными, обязанностями и не мог уделять много времени обучению молодежи. Таким образом, пройдя четырехгодичный курс, ученики не умели ни читать, ни писать. Но этот недостаток вполне вознаграждался умением петь псалмы, которые они знали наизусть. Наши мальчики ходили в еврейскую школу, начиная с шестилетнего возраста. Мой брат Вульф “окончил” свое образование, когда ему было десять лет. Девочки не учились совсем. Я оставалась неграмотной до тринадцати лет. Многие оставались неграмотными и дольше. Многие крестьяне, наши соседи, жили еще в большей бедности, чем мы. Их взрослые сыновья и дочери не уходили жить в город и оставались в семье. Они не посылали детей и в мастерские. Их маленький земельный надел, который облагался большими налогами, не мог прокормить так много “душ”. Возле их земли находилось большое помещичье имение. Оно простиралось на несколько сотен десятин земли, большая часть которой оставалась необработанной. Таким образом, крестьяне были лишены возможности заработать хотя бы немного на поденной работе.

Одно обстоятельство, я помню, приводило меня в большое недоумение, несмотря на то, что я была тогда еще очень мала. У нашей деревни был очень маленький выгон, и стадо часто возвращалось голодным. Рядом с нашим находилось огромное пастбище священника, который давно оставил церковь и даже не жил в своем имении. Луг охранялся человеком, который жил буквально на наш счет. Он собирал с нас по рублю за каждую лошадь или корову, которая заходила на его землю. Если не платили денег, он запирали скотину в свой сарай и держал ее там, не давая корма. Одну корову из нашего стада он заморил до смерти. Когда

Для меня было ясно, что оставаться с этими людьми мне нельзя. Они могли выдать мое присутствие у них в доме просто из страха. Но куда мне идти?

В этой же квартире, в другой комнате, хозяин и его приятель играли в карты. Мой хозяин, взволнованный посещением городского, сказал ему, что, по его мнению, женщина, бежавшая из тюрьмы, находится у него в доме. Это заявление возбудило любопытство приятеля, он пришел посмотреть на меня и тут же выразил готовность помочь мне.

— Не тревожьтесь, — сказал он мне, — я честный человек, хотя и веду непорядочную жизнь. Никто никогда не заподозрит, что вы скрываетесь у меня в доме. Я живу с мальчиком и часто привожу женщин в дом.

Я откровенно сказала этому человеку, что его ожидает, если меня арестуют в его доме. Но он продолжал настаивать на том, что в его доме не может быть никакой опасности. Когда стемнело, я пошла с этим совершенно неизвестным мне человеком.

Нам открыл мальчик лет пятнадцати с очень милым лицом.

— Будьте как дома, — сказал мой хозяин. — Вы видите, комнату не чистили здесь целых 4 месяца. Здесь была женщина на прошлой неделе, но она еще больше ее загрязнила.

Он лег спать в одной комнате с мальчиком, уступив мне свою спальню, все убранство которой заключалось в поломанной кровати. На следующее утро он сказал мне, чтобы я двигалась тише, так как мои шаги могут быть слышны в нижнем этаже. Я могла оставаться здесь три или четыре дня, и никто не будет подозревать, что в доме находится женщина. Он ушел, заперев мою дверь с внешней стороны, и я осталась одна. Вечером он вернулся домой пьяный, но говорил толково и не забывал своей роли. Он стал рассказывать мне о себе.

— Я инженер и хороший механик, и у меня золотые руки. Но некоторые умеют склонять голову и слушаться начальства, а я не умею этого. Уже почти год, как я без работы. Я продал все, что было дома. За квартиру не уплачено, мой мальчик в лохмотьях и не может ходить в школу. У меня есть еще двое детей в деревне; старуха, у которой они живут, грозит прислать их назад, так как я давно уже не платил ей.

Рассказывая мне свою историю, он продолжал пить то пиво, то водку из большого стакана, и к 12 часам он совершенно опьянел и начал придирается к сыну. Он приказывал мальчику говорить бессмысленные слова и, когда тот колебался, он нещадно бил его. Я мучилась ужасно и старалась защитить несчастного ребенка. Вдруг мысли пьяницы обратились ко мне: — Ты видишь, — кричал он мальчику, — эта женщина святая, она не похожа на тех, которых ты видел здесь раньше.

она охотно согласилась принять меня, так как была очень либерального образа мыслей.

Было 11 часов вечера. Гости разошлись. Я сидела с хозяйкой в моей комнате, когда кто-то вызвал ее и сообщил ей ужасную для меня новость: соседний дом был окружен полицией. Нужно было действовать быстро. Я открыла Тумановой свое настоящее имя, и она решила отправить меня на другую квартиру. Сын ее пошел со мной. Мы долго шли по полям и вошли в город с противоположной стороны.

На моей новой квартире обо мне ничего не знали. Я поселилась там, как обыкновенная квартирантка. Хозяева мои были настоящие обыватели.

Прошло три дня, и мои хозяева по-прежнему ничего не знали обо мне. Я начинала надеяться, что все кончится благополучно. Но в полдень пришла навестить меня Туманова. Она была очень взволнована. Она рассказала мне, что город положительно терроризован, что полиция делает повальные обыски и арестовала массу совершенно невинных людей. Тюремные надзиратели, знавшие меня в лицо, посланы были в город искать меня. Туманова не была уверена, что за ней не следили, и думала, что самое лучшее для нее было бы уехать из города на некоторое время; она дала мне денег и распрощалась со мной.

На четвертый день моего пребывания на этой квартире я заметила, что хозяева начали поглядывать на меня тревожно. Они начали подозревать, что я та самая женщина, о которой газеты печатали всякого рода истории, и испугались. Не говоря мне ничего мой хозяин придумал какую-то фамилию и, занеся ее в домовую книгу, как фамилию своей жилички, понес для прописки в полицию. Таким путем он надеялся отвлечь подозрения от себя. Я сидела в своей комнате и ничего не подозревала. Вдруг моя хозяйка вбежала в комнату и очень взволнованно стала рассказывать о том, что сделал ее муж. Моим первым движением было — бежать. Но пока я ломала свою голову над вопросом, куда мне идти, хозяин вернулся и сообщил, что не прописал меня, так как в участке по случаю праздника никого не было.

Это было большое счастье. Ни едва прошло полчаса, как раздался звонок, и моя хозяйка, бледная, как смерть, вбежала ко мне, шепча: “Полиция, полиция, бегите!”.

Я выбежала на кухню, оттуда на двор и спряталась в сарае, в котором хранились дрова. Я забилась в угол, Держа в руке заряженный револьвер. Через несколько минут дверь сарая открылась и вошла старуха, мать моей хозяйки.

— Городовой ушел, слава богу. Он приходил спрашивать, зачем сын был в полиции, и мы ничего не сказали ему про вас.

приходила зима, прекрасная трава на лугу священника засыпалась снегом, в то время, как наши сараи были пусты.

Густой лес окружал деревни, а у нас не было достаточно дров, чтобы нагреть наши хаты. Лес принадлежал государству. Крестьянам было предоставлено замерзать или воровать дрова из леса. В результате тюрьма ближайшего города была всегда переполнена. Некоторые оставались там в течение двух лет — только за попытку украсть полено, чтобы согреть холодную хату.

Когда мне было шесть лет, нашу семью постигло большое несчастье: моя мать упала с чердака и разбила себе голову. Она болела почти целый год. Четыре месяца она лежала в полусознательном состоянии. Она никого не узнавала и отгоняла нас, когда мы подходили к ее постели. Я не знаю, что было бы с нами, если бы у нас не было нашей сестры Ревекки. Она ухаживала за нами, как мать, следила за тем, чтобы мы были сыты и одеты. Ей тогда было одиннадцать лет.

Болезнь матери разорила нас окончательно. В нашей семье она была единственным человеком, который умел управлять домом и, как говорят, сводить концы с концами. У отца не было этой способности. Кроме того, болезнь матери сильно увеличила наши расходы. Для оплаты докторов и рецептов пришлось продавать коров и лошадей, даже земля была заложена.

Было лето, и отец работал в поле. Ревекка и я оставались дома и смотрели за годовалым ребенком. Мы вставали с зарей и, не покладая рук, работали весь день. Ревекка доила коров (они были проданы позднее, зимой), я выгоняла их на пастбище. Помню, с какой серьезной физиономией я отвечала своим приятелям, когда они звали меня поиграть с ними: — Мне некогда играть. У меня мама больна.

Одно происшествие, случившееся во время болезни матери, произвело на меня такое впечатление, что до сих пор оно живо сохранилось в моей памяти. Это было во время сенокоса. Отец находился на поле, мать лежала в постели, мы с Ревеккой сидели на пороге нашего дома, отдыхая после трудового утра. Вдруг на улице появился фургон, запряженный двумя лошадьми. Мы тотчас же узнали его и поняли, что приехал сборщик податей. У него была деревянная нога и длинная, черная борода. Деревенские ребятишки боялись его ужасно. Периодическое появление в нашей деревне сборщика податей, которого прозвали “одноногий черт”, было всегда причиной многих бедствий. Он остановился против нашего дома. Мы страшно испугались его. В другое время мы убежали бы от него и спрятались бы где-нибудь в амбаре, но этот счастливый период нашей жизни уже прошел. Мы чувствовали большую ответственность,

возложенную на нас, и остались. Мы встали и храбро встретили непрошеного гостя. “Никого нет дома”, — сказала Ревекка, когда сборщик подошел к нам. Но он не обратил на нее никакого внимания, и прошел прямо в дом, производя страшный шум своей деревянной ногой. Мы пошли за ним. Осмотрев имущество, находившееся в комнате, он остановился перед столом, на котором стоял самовар и подсвечники. Мы, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Он постучал в окошко своей палкой. В дом вошел молодой парень с большим мешком, и раньше, чем мы могли понять смысл происходящего, наш самовар, гордость и украшение нашего дома, исчез в грязном мешке. За ним последовали подсвечники. Мы остолбенели и стояли, глядя на мешок, и не могли произнести ни слова. Будучи не в силах двинуться с места, мы видели, как он подошел к двери и вышел из комнаты. Когда мы пришли в себя, на улице раздался стук уезжающей телеги. Ревекка села возле опустевшего стола и заплакала. Через несколько минут и я присоединилась к ней. Без самовара и подсвечников комната выглядела мрачнее, чем обычно.

Наконец, отец решил пригласить доктора из Вильны. Его визит стоил нам пятьдесят рублей, но этот доктор действительно помог матери, и она начала понемногу поправляться. Когда мать оправилась от болезни, Ревекку отослали в город работать в портняжной мастерской, и я сделалась главной помощницей матери в доме. В долгие зимние вечера я щипала перья для подушек, которые должны были составить часть приданого Ревекки. Ей шел тогда тринадцатый год.

Прошло два года. Наша бедность в это время была неописуема. Весь заработок уходил на покрытие долгов и на уплату процентов. Чтобы заработать немного денег, мать решила продавать овощи в городе. Каждое утро она уходила в город и возвращалась вечером. На меня были возложены все заботы по хозяйству и по уходу за моим одиннадцатимесячным братом.

Смерть моей тетки, молодой замужней женщины лет тридцати четырех, заставила меня задуматься вообще о нашем положении. Было время уборки хлеба, и моя тетка поехала в ближайшую деревню, чтобы нанять там поденщиков. Она отправилась перед заходом солнца. Прошло несколько часов, приближалась ночь, а она все не возвращалась. Около полуночи вернулась лошадь с пустой телегой. Мы подняли тревогу, пошли в деревню, но тамошние крестьяне, которые все хорошо знали мою тетку, сказали, что она сегодня в деревне не была. Наконец, после поисков, продолжавшихся всю ночь, она была найдена зарытой в яме

Старик-лакей смотрел на меня в крайнем недоумении и не мог произнести ни слова. Я думала, что он лишился речи от испуга. К счастью, на квартире у Тумановых в то время жила Е.К.Николаева, жена каторжанина. Она помогла мне переодеться. Мое мужское платье было там же сожжено.

Переодевшись, я решила сейчас же уйти на другую квартиру, к тов. А.А.Тюшевскому.

Было 12 часов. Прошло только два часа с момента моего побега. Тюшевский запер меня в своем кабинете и пошел посмотреть, что делается на улице. Только тогда я поняла, какая трудная задача предстояла мне. Когда я была в тюрьме, меня занимала одна только мысль: как уйти из нее? Я не могла заставить себя думать о тех затруднениях, которые должны явиться передо мной, когда я выйду из нее и буду на свободе. Куда мне спрятаться, куда идти — вот вопросы, требовавшие немедленного ответа. Тюшевский вернулся и принес мне новое платье.

— Я думаю, — сказал он, — что для вас лучше было бы оставить этот дом. У меня есть очень хороший план, но дорога, по которой мы должны проехать, идет мимо тюрьмы. Можете вы заставить себя проехать мимо нее? — Хорошо. Едемте.

Я оделась во все белое и надела белокурый парик. День был прекрасен, и солнце снова улыбалось мне. Мы приблизились к тюрьме, и в моем воображении ясно встала картина всего пережитого мною в ней. Вот тюремная больница — камера, в которой я пролежала целых восемь месяцев. Там стоит операционный стол. Я вспомнила лица докторов, которые были единственными милыми мне людьми, милыми, потому что они были из потустороннего мира, свободные люди. Даже тюремные надзиратели смотрели на меня тогда с сочувствием: они были уверены, что я не переживу операции. Я вспомнила каторгу, где я провела шесть лет, моих товарищей, которые оставались еще там...

Коляска проехала мимо тюрьмы и через минуту оставила ее далеко позади. Но я не могла отогнать мысли о тюрьме. Я чувствовала, что все, что я пережила в эти шесть лет, привязало меня к этим местам, где жили скованными тысячи людей. Я была свободна, но только внешне свободна, так как я знала, что никогда не смогу освободиться от мыслей о моих товарищах, которые оставались в тех мрачных стенах.

Мы подъехали к даче Тумановых, которая находилась далеко за городом, по ту сторону реки Ушаковки. Туманова не знала, кто я, так как не имела никакого отношения к революции. Ей сказали, что я ссыльная, и

— Где надзиратель, который стережет вас?

— Он ушел на минутку. Он не боится за нас, мы не убежим. У нас осталось всего три дня сроку.

— Братцы, — сказала я, — с вами говорит вечница. Сейчас я убегу. Не выдавайте меня. Не кричите, когда увидите меня на улице. — Беги, беги, — недоверчиво ответили они. Одним прыжком я очутилась возле ворот. Я сбросила арестантский халат, вытащила доску из-под ворот, не произведя ни малейшего шума, и пролезла под воротами. Я поднялась с земли как раз в тот момент, когда часовой, пройдя до конца своего поста повернулся ко мне лицом. Я увидела пролетку, стоящую на углу. Я знала, что мне нужно идти медленно. Но секунды казались мне вечностью, и короткое расстояние между мной и пролеткой превратилось в бесконечное пространство. Мне казалось, что я совсем не двигаюсь, а стою, как будто прикованная к месту. Скоро я была уже в пролетке, и мы скрылись из виду, завернув в один из переулков. Чувство величайшего счастья, счастья свободы наполнило все мое существо. У меня кружилась голова. Моя пролетка мчалась с ужасной быстротой и уносила меня все дальше и дальше от тюрьмы. Я, как будто сквозь туман, видела лица прохожих, и мне казалось, что они мне улыбаются и вместе со мной торжествуют мою великую победу*

• * *Администрация никогда не узнала, каким образом я бежала, так как Маша, находившаяся во дворе во время моего побега, поставила доску на свое место и сожгла мой халат. Это было заранее условлено между нами.*

Наша пролетка остановилась перед великолепным домом, в котором жил присяжный поверенный А.И.Туманов. Я спрыгнула и позвонила. Старый лакей отпер дверь. На мой вопрос, дома ли Тумановы, он отвечал, что все уехали и не вернутся раньше вечера. Моя пролетка уехала, а я знала, что не должна терять ни минуты времени, так как меня могли найти здесь. Я не знала города и, кроме того, не могла показаться в моем наряде на улицу, не возбудив подозрения. Я должна войти в этот дом, подумала я, иначе я погибла. Я взглянула на безжизненное лицо старика-лакея, который стоял передо мной и держался за дверь, повторяя, что никого нет дома.

— Слушайте, — начала я женским голосом, — я должна войти сюда, я не могу уйти отсюда в таком костюме. И вы должны помочь мне.

Я вошла в переднюю, закрыла дверь и взяла его за руки.

— Нам нужно торопиться, так как полиция и жандармы могут прийти сюда каждую минуту.

возле дороги, еще живая. Ее лицо было неузнаваемо. Все тело ее было избито и носило следы насилия. Прибыла полиция, и началось следствие.

Наш двор был наполнен крестьянами из соседних деревень. Там были и молодые, и старые. Каждого из них подводили к постели, на которой лежала моя тетка с неопишимым выражением лица. Она не могла говорить, но ее глаза были полны страдания и немого упрека. Каждый раз, когда к ее постели подводили крестьянина, она медленно качала головой. Следствие продолжалось два дня. Все время моя тетка пыталась сказать что-то, но все наши усилия понять ее были тщетны. Полиция потеряла уже всякую надежду найти виновника ужасного преступления. Моя тетка совершенно ослабела, и доктор не мог поддерживать в нас никакой надежды. Вдруг она ясно произнесла слово “барчук” и умерла. Барчук! Слово пронеслось в толпе крестьян, они перекрестились. Теперь они знали, кто совершил преступление.

На небольшом расстоянии от деревни, куда отправилась моя тетка, находилось помещичье имение. У помещика был сын, который обычно проводил лето в деревне. Он был проклятием соседних деревень. Когда он появлялся в деревне, крестьяне прятали своих дочерей, но он находил возможность оскорблять их безнаказанно. На него моя тетка указала, как на своего убийцу. Он был арестован. Все крестьяне давали показания против него. Но через три месяца он был освобожден. Помещик подкупил следователя, и дело замяли.

Как я уже говорила, меня не посылали в школу. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, мать нашла мне место в бакалейной лавке в городе. Лавчонка была так мала, что, когда два покупателя хотели зайти в нее, то один должен был ожидать своей очереди на улице, где была разложена большая часть товара. Я исполняла очень много обязанностей: выносила на улицу товары и вносила их обратно, подметала лавку, выдавала покупки и выполняла разные поручения. Жалованье мое было пятнадцать рублей за зиму. Там я впервые познакомилась с цифрами и научилась сложению и вычитанию. Мое положение приказчицы требовало некоторых познаний в арифметике. Сначала хозяйка учила меня. Потом мой брат Вульф руководил моими занятиями этой наукой, в которой он был весьма силен.

Но месяцы проходили, а я не подавала никаких надежд сделаться настоящей приказчицей бакалейной лавки. Моя хозяйка была очень недовольна мною. Она часто упрекала меня за мое неумение обращаться как следует с покупателями и называла меня “мужичкой”. Я не понимала, чего от меня хотят, и очень терзалась этим. Но я очень гордилась тем, что я приказчица и зарабатываю деньги.

Каждый вечер я ходила домой. В городе был трактир, где рабочие из нашей деревни собирались обыкновенно часам к девяти. Там, идя домой, я обыкновенно находила себе попутчиков.

Перед пасхой хозяйка рассчитала меня. Она нашла другую девочку, которая умела обращаться как следует с покупателями. Это было для меня большое несчастье, но мать старалась утешить меня, говоря: “Не огорчайся, я помещу тебя в мастерскую к портному, как Ревекку. Это решено”.

Прошло лето. Когда наступили холода, мать отвела меня в город, и я начала свою новую карьеру — ученицы в портняжной мастерской. Мастерская не очень привлекала меня. Я привыкла к свободе, к чистому воздуху полей. Самые суровые морозы и бури не могли нас, детей, удержать дома. Мы никогда не чувствовали холода, хотя и не всегда бывали одеты по сезону. Здесь же я должна была сидеть целый день взаперти, в душной комнате. Иногда мои обязанности задерживали меня там до полуночи. Мой хозяин и не думал учить меня шитью. Большую часть времени я была занята двумя маленькими детьми, которых моя хозяйка оставляла на мое попечение.

Так я “проучилась” там два года. Было условлено, что меня отпустят домой на время полевых работ. Договор был такой: первый год я должна учиться бесплатно, за второй год получу двадцать пять рублей. Но судьба сыграла со мной одну из своих шуток. К концу второго года, когда я мысленно то и дело принималась считать деньги, которые должна была скоро получить, произошли неожиданные события, и я никогда не увидела своих тяжелым трудом заработанных денег.

Весной 1898 года рабочие Вильны начали борьбу за десятичасовой рабочий день. “Бунд” — тайная еврейская рабочая организация, возникшая незадолго до того, руководил стачкой. Он выпустил нелегальную прокламацию, озаглавленную “Восьмичасовой рабочий день”, и распространял ее по всем соседним городам и местечкам. Одна из этих прокламаций нашла дорогу и в нашу мастерскую. Работники нашей мастерской обсуждали ее потихоньку. Была устроена сходка рабочих всех портняжных мастерских, на которой было решено перед пасхой объявить забастовку и требовать десятичасового рабочего дня. Меня не посвящали в эти секретные дела, потому что я была слишком молода или потому, что не считали меня настоящей работницей, так как лето я проводила обычно в деревне. Но мне без большого труда удалось проникнуть в скрываемую от меня тайну. С большим нетерпением я ожидала забастовки. Возвращаясь домой после работы, я рассказывала моим подругам о важных событиях, готовящихся в городе. Наконец,

Я послала записку товарищам в город, прося их о том, чтобы в субботу от 9 до 10 часов (время моей прогулки на тюремном дворе) меня ждал извозчик. Но будет ли он меня ждать? Получили ли товарищи мою записку, которая была отдана в не вполне надежные руки? Эти вопросы я беспрестанно задавала себе. Но я должна была бежать. Я твердо решилась на это. Я знала, что успех много зависит от моего самообладания. Задача была очень простая, но малейшая ошибка могла быть роковой. Необходимо было действовать с математической точностью. Я должна была бесшумно отодвинуть доску и пролезть под воротами, не производя ни малейшего шороха. Я должна была сделать все это раньше, чем часовой успеет повернуться лицом ко мне; затем пройти некоторое расстояние прямо и повернуть направо; идти медленно. Но глубоко в душе я чувствовала смутную, едва уловимую мысль: сделаю ли я это? Хватит ли у меня мужества всунуть голову прямо под ноги часовому? И тогда мне казалось, будто кто-то душит меня...

Переходя таким образом от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, я провела четверг и пятницу. Вечером прошла проверка, и меня заперли на ночь. Только ночью я была одна, днем же надзирательница всегда находилась возле меня.

Была полночь. Всюду царили сон и тишина, можно было слышать только мерные шаги часового под моим окном. Этого часового поставили после ареста тов. Исаковича. Тихо, не поднимаясь с постели, я распоролла свою подушку и вынула мужское платье. Я одела на голову платок и поверх мужской одежды натянула тюремный халат; одетая таким образом, я улеглась. Я не могла и не хотела спать. Я думала, что мне осталось жить всего несколько часов, но я предпочитала умереть от пули солдата, чем вернуться назад в тюрьму.

В шесть часов утра я встала. Солнце светило в окно ясное и улыбающееся, но в моей душе были мрак и неуверенность. Проходили минуты, часы. Мое сердце застыло и временами почти совершенно переставало биться.

Когда я вышла на двор на последнюю свою прогулку, мерный стук топора достиг до моего слуха. Сквозь щель в стене я увидела двух арестантов за работой. Они строили лестницу к вышке часового. За ними наблюдал надзиратель. При виде этого я потеряла всякую надежду.

Я стояла возле стены, у которой раздавался стук. Вдруг в моем мозгу зародилась мысль. Я попросила надзирательницу, которая была со мной, сходить за книгой ко мне в камеру, и она отправилась исполнять мое поручение. Я постучала в забор. Стук прекратился. — Братец, послушайте, братец! — Что вам надо? — спросил грубый голос.

тюремную фельдшерицу, которая сама предложила содействовать моему побегу. Она это делала совершенно бескорыстно. К сожалению, фамилию ее я забыла.

Сначала товарищи предполагали освободить меня посредством подкопа, который должен был быть проведен с воли. Затем они намеревались отбить меня от конвойных, которые повезут меня обратно. Планы эти стали известны охранке, за тов. Исаковичем была установлена слежка, и в конце концов он был арестован. Деньги, найденные у него и предназначавшиеся для устройства моего побега, были конфискованы.

Иркутская тюремная больница также оказалась непригодной для операции. Я пролежала там 8 месяцев. Товарищи хлопотали о разрешении сделать операцию в одной из городских больниц. Обращались даже в Петербург в главное тюремное управление, но все хлопоты были безуспешны. Разрешения не дали. Тогда товарищи сговорились с частными врачами, которые выхлопотали разрешение видеть меня, но, осмотрев нашу тюремную больницу, они отказались сделать операцию в этих условиях. Администрация уже подумывала, было, отправить меня обратно. Тогда я написала иркутскому доктору Михайловскому, прося его сделать операцию. Я писала ему, что мне легче будет умереть сразу, чем умирать медленной, мучительной смертью от истощения. Доктор Михайловский понял мое положение. Он пришел с двумя коллегами, принес с собой инструменты и все необходимое. Я пошла на операцию с твердой уверенностью, что выздоровлю и убегу.

9 дней спустя после операции я узнала от тюремного фельдшера, что через четыре дня я буду выслана назад в Мальцевскую тюрьму. Ехать обратно туда было выше моих сил. Я не могла уйти от живых звуков города. И я решила бежать во что бы то ни стало. Я с особым вниманием начала осматривать двор и тюремные стены, окружавшие его. Я заметила, что ворота имели подворотню, и несмотря на то, что ворота охранялись часовым, я решила бежать через подворотню. Выполнить этот план помогла мне одна уголовная по имени Маша. Она служила уборщицей во дворе, так как ее срок заключения уже подходил к концу. Я посвятила ее в свою тайну, и она обещалась подкопать доску под воротами, чтобы ее легко можно было удалить. Она это сделала, пока другие уголовные женщины разговорами отвлекли внимание часового. Мне до сих пор неизвестно, знали ли они о нашем плане. Через два дня Маша сообщила мне, что доска подкопана, и только слегка засыпана землей.

В подушке у меня была спрятана мужская одежда и парик, присланные мне тов. Крамаровым. Не хватало только башмаков. Я решила одеть свои собственные.

назначенный день настал, и рабочие Сморгони забастовали. Я тоже, к большому удивлению всей мастерской, отказалась работать.

Забастовка продолжалась только несколько часов. Хозяева решили уступить, так как это было перед пасхой — самый горячий сезон в году. Они согласились на все требования рабочих. Но после пасхи их всех рассчитали и предложили работать на прежних условиях. Я же не была принята обратно. Это обстоятельство произвело большое впечатление на рабочих, которые смотрели на меня, как на пострадавшую. Когда я теперь думаю об этом и о том, что из этого последовало, я глубоко благодарна судьбе, хотя с этих пор я стала источником несчастий и мучений нашей семьи.

Рабочие, разочарованные неудачей забастовки, стали искать новых путей сократить рабочий день. Они стали организовывать кружки самообразования, где они читали о жизни рабочих за границей и об их борьбе за права и свободу. Я была принята в один из таких кружков.

Однажды дочь раввина из Сморгони зашла к нам в дом. Само собою разумеется, что на раввина у нас смотрели как на богатого человека и аристократа. Его дети получали образование в Вильне и были известны у нас в деревне, как “свободомыслящие”. Естественно, что появление его дочери в нашем скромном жилище возбудило любопытство обитателей нашей деревни. Окна нашего дома были немедленно осажены целой толпой любопытных. Соседкам вдруг понадобились различные хозяйственные принадлежности, за которыми они заходили к нам, оставаясь на минутку, чтобы посмотреть на дочь раввина, у которой были стриженные волосы и пенсне. Ее звали Ганна. В то время, как соседки толковали по поводу ее появления, она шепнула мне:

— Приходите к нам в будущую субботу после обеда. Никому не говорите об этом.

С нетерпением ожидала я следующей субботы. “Что я там увижу?” — спрашивала я себя, и мое воображение рисовало мне картину одну прекраснее другой. Наконец, желанный день настал. Закинув за плечо свои башмаки, я быстрыми шагами отправилась в путь.

Подойдя к городу, я одела башмаки, без чулок, и продолжала путь уже более медленно. К моему большому стыду я должна сознаться, что, когда я стала подходить к большому дому раввина, мое сердце стало усиленно биться, и я вдруг утратила мужество. Картины, в которых я видела себя героиней дня, стали бледнеть. Моя приятельница Ганна, которая, очевидно, поджидала меня, увидела меня в окно. Она вышла и провела меня в слабо освещенную комнату, где уже собралось несколько девушек.

Шторы на окнах были опущены и дверь заперта. В комнате было почти темно.

— Сестры, — начала Ганна, — прежде всего вам нужно знать, что вы не должны никому говорить о том, что здесь делается.

Все молчали. Ганна взяла маленькую книжку и стала читать: “Жили-были четыре брата...” Эта книжка, озаглавленная “Четыре брата”, была запрещенная. Она рассказывала историю о четырех братьях, которые родились и жили в лесу. Они решили путешествовать и отправились в разные стороны. Когда они вернулись, они рассказали друг другу о многих случаях жестокости и несправедливости, которые им пришлось видеть на свете, и принялись обсуждать меры, как бы установить справедливость и равенство в мире.

После чтения мы разошлись, условившись встретиться в следующую субботу. Эти субботние чтения открыли мне новый мир. Прежде я никогда не задумывалась о больших городах, о том, как люди живут в них; теперь мое желание учиться росло с каждой неделей.

Кроме чтения запрещенной литературы, Ганна учила нас истории и географии. Она читала, а мы сидели и слушали, часто прерывая ее вопросами. Все это было так неожиданно, и чудесно, что я решила во что бы то ни стало учиться, чтобы иметь возможность самой читать эти чудесные книги. Я сказала об этом Ганне, и она принялась учить меня. Каждую пятницу вечером я отправлялась в город, и Ганна учила меня читать и писать. Я держала свои занятия втайне даже от отца, так как у нас считалось смертельным грехом писать в пятницу вечером. Я уже делала успехи в моих занятиях, когда новые события заставили меня отказаться от них на некоторое время.

В Вильне была объявлена стачка чулочниц. Условия их работы и оплаты труда были таковы, что они не могли больше продолжать работать на прежних условиях. Они не могли заработать достаточно для удовлетворения самых насущных своих потребностей. Но хозяева решительно отказывались от какого бы то ни было увеличения платы. Они имели чулочные мастерские в каждом маленьком городке губернии и получали оттуда товар по еще более низкой цене, чем им приходилось платить за работу в губернском городе. “Бунд”, тайная организация, упомянутая выше, решил организовать стачку чулочниц во всей губернии. С этой целью в Сморгонь приехала молодая женщина — агитатор.

Однажды вечером, когда вся наша семья сидела за ужином, Ганна и приезжая агитаторша зашли к нам.

пролежала там несколько недель. Тюремный доктор один не мог совершить операцию. Я попросила начальника тюрьмы Чемоданова пригласить еще других врачей, и он с готовностью согласился и взялся устроить это. Два дня чистили какую-то камеру, которая должна была служить операционной, но когда все было готово, вплоть до кипячения инструментов в самоваре, один из приехавших на консилиум врачей, молодой казачий доктор, высказался против операции в обстановке нашей тюремной больницы, чем сильно напугал нашего тюремного врача, и операция не состоялась.

Видя свое безвыходное положение, я решила просить Чемоданова хлопотать о моем переводе в Иркутск. О Чемоданове у меня были определенные сведения от Егора Сазонова, и я знала, что ему можно вполне довериться.

Когда я изложила ему свою просьбу. Чемоданов возразил, что послать меня обыкновенным этапом невыносимо в моем состоянии, а послать специально он может только одну тройку, которой недостаточно для моего эскорта. Я заявила ему, что у меня имеются деньги для того, чтобы нанять другую тройку. Деньги у меня действительно уже были на руках. Они были переданы мне Егором, который, предвидя возможные осложнения, заранее достал у своих родных.

Через несколько дней Чемоданов получил от начальника каторги разрешение отправить меня в Иркутск, и мы выехали.

Было начало октября, и начинались уже холода. Я была истощена постоянной лихорадкой и голоданием. Отправиться в Иркутск в таком состоянии казалось совершенно невозможным. Но я была рада этому, видя в этом лучший исход.

Три конвойных, надзирательница и фельдшер сопровождали меня. Чем дальше удалялась я от тюрьмы, тем все больше вырастало во мне желание жить. Я вдыхала чистый горный воздух, любовалась природой, и силы постепенно возвращались ко мне. С каждым днем мне становилось лучше.

Наконец, я прибыла в Иркутск. За стенами этой тюрьмы не было ни темных лесов Акатуй, ни голых Мальцевских гор. Я слышала за ними суету городской жизни, и возможность побега отсюда дала мне новые надежды.

Когда товарищи узнали о моем приезде, они стали строить всевозможные планы для побега. Особенно активными в этом отношении были товарищи Исакович (Крамаров) и Нахманберг. Они подкупили тюремного фельдшера, который передавал мне записки от них и мои ответы им. Кроме того, они передавали мне вещи и адреса через нашу

ничего хорошего; чтобы показать, что в тюрьме проводится строгая дисциплина, мы должны были одевать к приезду начальства кандалы, прятать книги и т.д. Единственное преимущество для нас от этих визитов было то, что за несколько дней до их приезда наша пища обычно улучшалась, так как в это время местная администрация боялась присваивать деньги, которые отпускались на содержание тюрьмы. Обкрадывание заключенных в сибирских тюрьмах было традицией и практиковалось в большой мере. Начальник Мальцевской тюрьмы Покровский продавал не только полотно и одежду, предназначавшиеся для заключенных, но даже пищевые продукты и дрова. Для ремонта тюрьмы присылались значительные суммы, но мы продолжали мерзнуть, так как начальство предпочитало прикармливать эти деньги, вместо того, чтобы производить ремонт.

Было одно только светлое пятно на мрачном фоне нашей безрадостной жизни, это — горячее дружеское чувство, которое мы питали друг к другу. Это чувство поддерживало нас в часы горьких испытаний.

ГЛАВА VII

Летом 1910 года я заболела. Из Горного Зерентуя был вызван доктор, который нашел у меня аппендицит. Товарищи стали посылать заявление за заявлением начальнику каторги, прося его перевести меня в Зерентуйскую больницу, но ответа не получали. Мое положение казалось безнадежным. Я не могла есть тюремную пищу, и мне грозила медленная смерть от истощения. Как раз в это время приехал из Петербурга тюремный инспектор Сементковский для ревизии нашей тюрьмы. Когда он спросил у товарищей, не имеют ли они каких-нибудь заявлений, все они ответили, что единственная вещь, о которой они просят его, это — отправить меня в больницу. Несколько дней спустя начальник объявил нам, что Сементковский распорядился о переводе меня в Горный Зерентуй. По нашей просьбе начальник Мальцевской тюрьмы разрешил одной из наших каторжанок, Паулине Метер, сопровождать меня.

Два солдата вынесли меня и положили на носилки. Товарищи стояли около меня, и каждая из них старалась сказать мне несколько ободряющих слов. Но их глаза и лица были печальны и говорили мне о другом.

Долго еще я могла видеть группу товарищей, которые стояли на тюремном дворе и махали мне платками.

Солдаты шли быстро, и скоро мы пришли в Горный Зерентуй. Я и товарищ Метер были помещены в одну из больничных камер. Я

Отец был очень польщен их визитом и принял их очень радушно. Был поставлен самовар, чего мы никогда не делали для себя. Мать раздобыла даже печенье и варенье. Они сели и стали разговаривать. Никто не знал о причине их посещения. Когда они стали уходить и я пошла проводить их до дверей, Ганна сказала мне:

— Ну, как вы думаете? Можно будет у вас в доме устроить тайное собрание? Как на это посмотрят ваши родители?

Подумав минуту, я решила, что лучше будет собраться в лесу. Я знала там каждую тропинку. Они согласились. Тогда, там же, стоя в темных сених, мы выработали план завтрашнего собрания. Мы решили собраться утром, когда обитатели деревни будут на полях.

На следующее утро высокие дубы скрывали от нескромных взоров нескольких девушек, которые осторожно пробирались по лесу.

Место, выбранное для собрания, было хорошо знакомо мне. Еще недавно я играла там в прятки со своими деревенскими подругами. Но как все изменилось с тех пор!

Организаторша произнесла речь. Она говорила о жизни чулочниц в Вильне. Некоторые голодали, другие были посажены в тюрьму. Их требование было увеличение платы на одну копейку за пару чулок. Но она не только рассказывала нам об их бедственном существовании, она говорила и о грядущей победе.

— Настанет день, — говорила она, — когда не будет ни бедных, ни богатых: все будут равны. Мы добьемся этого. Для этого нам нужно только объединиться в борьбе.

Она произносила эти слова почти с религиозным вдохновением. Они произвели на меня потрясающее впечатление. Моя вера во все то, что говорила она, была так велика, что я уже рисовала себе мысленно нашу скромную деревушку, изменившейся до неузнаваемости. Хаты исчезли. На их месте выросли великолепные строения, в которых счастливый народ жил счастливой жизнью. Устроить такую перемену казалось мне совсем не трудным делом.

“Мы объединимся и отнимем землю у богатых помещиков, — думала я. — Они владеют ею, но не пользуются, а потому земля для них, должно быть, не имеет значения. Мы же в ней очень нуждаемся”.

Я так была погружена в составление плана превращения нашей деревушки в настоящий рай на земле, что не слышала, как девушки решили послать агитаторов в города Слоним и Ошманы, чтобы призывать там чулочниц к забастовке. Мои размышления были прерваны Ганной, которая спрашивала у меня, хочу ли я поехать с ней и помочь ей организовать там забастовку. — Да, конечно, — поспешила я ответить.

Около полудня мы разошлись, и я обещала Ганне прийти к ней на следующий день.

Ганна, по-видимому, не понимала, что значит для меня бросить посередине недели работу,, уйти из дома и отправиться в город. Я даже не знала, где этот город находится. Я никогда не бывала дальше Сморгони. Но впечатление, произведенное на меня речью девушки, было таково, что я даже не подумала о том, как я уйду и что я скажу моим родителям.

“Какое это имеет значение? — решила я потом. — Все равно скоро наступит конец нашей бедности”.

Когда после моего возвращения домой мать стала выговаривать мне за то, что я не работаю в поле, я отвечала ей:

— Милая мама, если бы ты знала, какое великое время наступит скоро! Не будет больше ни богатых, ни бедных!

— Что за чепуху ты городишь! — закричала мать. — Откуда это ты взяла такие глупые мысли? Должно быть, эта философка научила тебя такому вздору.

Мать намекала на Ганну. Меня очень огорчило, что моя мать так невежественна и не может понять такой простой вещи, но я утешала себя мыслью, что она все поймет, когда придет время. Все же я не отважилась объявить о том, что я пойду в город.

Наступило утро. Мои родители ушли из дому. Я оделась в свое лучшее платье и, сказав сестрам: “Передайте маме, что я ушла к Ганне”, убежала из дома, боясь, что кто-нибудь придет и задержит меня. Повозка уже ожидала нас во дворе раввина. Старенькая лошаденка, понукаемая длинным кнутом возницы, лениво тронулась, и мы поехали. Наша телега качалась и подскакивала на неровной дороге. Облака пыли поднимались от копыт лошади. Солнце нещадно палило. Я смотрела на пустынные поля, и чувство грусти наполнило мою душу.

“Как неприятно будет отцу, когда я не вернусь к ночи домой”, — подумала я, но не поделилась этой мыслью с Ганной. Я не хотела уронить себя в ее глазах. Она, очевидно, считала меня более самостоятельной, и такое мнение обо мне давало большое удовлетворение.

Таким образом мы путешествовали, останавливаясь на ночь в крестьянских хатах. Около полудня на пятый день мы приехали в Слоним, где остановились на постоялом дворе. Дав распоряжение нашему вознице ждать нас здесь, мы отправились посмотреть на город. План наших действий был очень прост. Мы решили заглядывать в каждый дом через окно и входить туда, где увидим чулочную машину. Ганна пошла по одной стороне улицы, я по другой. После долгих поисков я увидела, наконец,

убит в Чите, и толпа укрыла стrelявшую от полиции. Бородулин был убит возле своего дома в Алгачах. После эт ого реж им на кат орге ст ал много лучше и ост авался т аким до 1910 г.

Время в Мальцевской тюрьме тянулось медленно. Дни, месяцы и годы протекали в тяжелом однообразии. Сначала нас было только шесть политических, но постепенно это число увеличилось вновь прибывавшими с разных концов России, и скоро нас стало много. Прибытие новых каторжанок было единственным событием, нарушавшим монотонность нашей жизни. Но новости, которые они приносили, и их собственное настроение скоро блекли в атмосфере тюрьмы, и они, в свою очередь, начинали ждать прибытия новых, которые могли бы оживить их умирающие надежды.

Те, которые были осуждены на определенный срок, считали дни и месяцы. Они знали, что если только они вынесут эту жизнь, дождутся окончания срока каторги, они увидят луч свободы, — если можно назвать свободой жизнь в отдаленном уголке Сибири.

Вера в скорое освобождение России постепенно уничтожалась тягостными сомнениями, наполнявшими наши души. Бродила ли я бесцельно по нашему тюремному двору на прогулке, или ворочалась долгие ночи без, сна на своей жесткой постели, эти мысли мучили меня беспрестанно.

Но каково бы ни было наше положение, положение уголовных каторжанок было еще хуже. Сибирская администрация боялась до некоторой степени делать с политическими то, что она делала с несчастными уголовными женщинами. Напротив тюремной стены стоял барак, где жили уголовные вольно-командки, отбывшие тюремный срок. Одна половина этого барака была занята солдатами, которые, следуя примеру своего начальства, совершали всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда Женщин убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая двухлетнего ребенка, была задушена в первую же ночь по ее выходе из тюрьмы.

Я не знаю ни одного случая, когда администрация или солдаты были бы наказаны за эти преступления. Мы доносили о таких случаях губернатору, но он ни разу не назначил следствия, и я уверена, что наши жалобы не шли дальше тюремной канцелярии. Эти ужасы страшно мучили нас, и мы всегда жили под их впечатлением.

Самое тягостное время для нас было, когда высшее начальство приезжало осматривать нашу каторгу. Эти посещения не приносили нам

посмотрели на нас, по-видимому, все еще не решаясь оставить нас в руках Бородулина.

Было около четырех часов ночи, когда мы, поддерживаемые солдатами, вышли на тюремный двор. Мороз был такой сильный, что мы с трудом могли дышать. Сани стояли у ворот, и мы отправились в сопровождении Бородулина, фельдшера и нескольких солдат.

Рано утром мы приехали в Александровскую тюрьму и там нашли наших товарищей-каторжанок. Они были уверены, что мы избежим этого ужасного путешествия. В нескольких словах мы рассказали им о событиях последней ночи и сообщили им, что с нами приехал Бородулин.

Мы провели целый день в этом холодном нетопленном бараке, не видя никого из администрации. Во время вечерней поверки начальник объявил нам, что Бородулин вернулся в Акатуй и отдал ему распоряжение отправить нас рано утром обычным этапом.

Мы пробыли в дороге несколько дней, останавливаясь на ночь в отвратительных дырах, называемых сибирскими этанами. Наконец мы добрались до Мальцевской тюрьмы.

Старая Мальцевская тюрьма была переполнена уголовными женщинами. Всех шестерых нас поместили в одну камеру. В камере было два окна, из которых мы могли видеть каменную стену.

Холод, сырость нашей камеры и пища, состоявшая из черного хлеба, “баланды” и чая без сахара, еще сильнее расстроили наше здоровье. Лидия Езерская совершенно заболела. При тюрьме не было больницы, и мы уговорили начальника вызвать врача из Горного Зерентуя. Доктор приехал.

— Что я могу сделать? — сказал он. — Все зависит от начальника каторги Метуса. Вызовите его и просите перевести больных в одиночные камеры. Они теплее и суше.

Мы немедленно послали заявление Метусу, который жил в Горном Зерентуе. Недели через две он приехал. Войдя к нам в камеру, он не поздоровался и стоял не глядя на нас. В ответ на нашу просьбу перевести больных в одиночки он грубым тоном буркнул что-то и вышел. После этого мы никогда больше не вызывали его*.

• * Метус был послан в Нерчинскую каторгу со специальным заданием “дисциплинировать” политических каторжан. Режим, который он установил, был невыносим. За малейшую провинность заключенных били, сажали в карцер на целую неделю и заковывали в кандалы. Последние годы политических не подвергали телесным наказаниям, и в этот период он первый стал применять к нам розги. Позднее он и Бородулин были убиты по приговору партии с.-р. Метус был

девушку, сидящую у машины. Я вошла. Женщины и дети столпились вокруг меня и стали меня спрашивать, кто я и что мне нужно.

— Я послана “Бундом” организовать забастовку чулочниц, — сказала я и немедленно принялась описывать то великолепное время, которое должно было скоро наступить.

— Не будет больше ни богатых, ни бедных, — закончила я торжественно. Я искренно верила в то, что я говорила.

После моей речи мои слушательницы пригласили меня раздеться и поесть. Ганна тоже зашла туда.

Мы послали девушку созвать других чулочниц. Не прошло и часа, как дом был уже полон. Ганна встала на стул и неожиданно для всех начала убеждать их бороться против несправедливой системы. “Пусть не будет ни богатых, ни бедных. Пусть все будут равны”.

Вечером нас с Ганной провели на место общего собрания всех чулочниц — большое, старое здание, оказавшееся еврейской синагогой. В ней царил полумрак и было много девушек различных возрастов. Ганна объяснила им требования, которые они должны были предъявить своим хозяевам на следующее утро, а я уже готовилась произнести речь, когда кто-то крикнул: “городовой!” Ужас охватил всех. Кто-то догадался потушить свечи. Произошло большое смятение. Толкая и давя друг друга, все кинулись к двери. Некоторые упали. Но тишина была полная. В темноте можно было услышать только тяжелое дыхание испуганных девушек. Постепенно комната опустела. Ганна взяла меня за руку, и мы вышли.

— Нам нужно уехать из города немедленно, — сказала она мне, — иначе мы будем арестованы.

В тот же вечер мы выехали в Ошмяны. Этот город произвел большое впечатление на меня. Я никогда до того времени не видала таких красивых домов, так хорошо освещенных улиц. “Это настоящий рай”, думала я про себя.

У Ганны здесь было много друзей, и дело устроилось быстро. Скоро все чулочницы присоединились к стачке. Выполнив свою задачу, мы с Ганной вернулись домой. С бьющимся сердцем я приближалась к нашей деревне. Наша невзрачная хата с ее разбитыми оконными стеклами предстала моему взору, и при виде ее меня охватила тоска по прекрасным домам города.

ГЛАВА II

Несколько дней, которые я провела вне дома, и первое знакомство с городом вызвали во мне определенные мысли. Там жизнь была лучше, чем наша; эту лучшую жизнь можно было найти только в тех высоких домах, на тех ярко освещенных улицах. Эти мысли преследовали меня, где бы я ни была, что бы я ни делала. Моя мать меня била. Она сжигала книги, которые я читала потихоньку. Она была неграмотная и считала чтение потерей времени, но я мужественно переносила притеснения моей матери и старшей сестры, и ничто не могло убить во мне желание узнать ближе эту жизнь. В будние дни я не могла читать, так как работа утомляла меня до такой степени, что я засыпала тотчас же, как освобождалась вечером от работы, но в субботу я целый день проводила за чтением. Я собирала девочек-подруг, и мы запирались в амбаре. Я читала им “Четырех братьев” — единственную книгу, которую я знала хорошо и которую могла бы, вероятно, рассказать наизусть. Я делилась также с ними и теми мыслями, которых я набралась при общении с Ганной.

С братом Вульфом мы прибегали ко всяким уловкам, чтобы выгадать больше времени для чтения. Он любил читать путешествия и романы. Прочитав какую-нибудь книгу этого сорта, он воображал себя ее героем и действовал сообразно этому.

В пятницу вечером мать ради экономии наливала немного керосину в лампу: считалось большим грехом гасить свет в этот вечер, и лампа должна была погаснуть сама собой. Мы с Вульфом поджидали, пока все уснут. Тогда мы подливали побольше керосину, садились так, чтобы свет не был виден, и читали до поздней ночи. Никто в доме не догадывался о нашей хитрости. Но однажды отец неожиданно проснулся и увидел нас сидящими за столом с книгой в руках. Не говоря ни слова о страшном грехе, который мы совершили, он заметил: — Вы испортите глаза, читая при таком свете. Идите лучше спать.

Мы послушно легли, оставив наши книжки на самом интересном месте.

Однажды ночью мы были разбужены ржанием и топотом лошадей возле нашего дома. Мы подбежали к окнам и увидели около дюжины жандармов и полиции верхом на лошадях, въезжавших в наш двор.

— Что это значит? — спросил мой отец дрожащим голосом.

Я побежала за печку и вытащила связку книжек. Это были запрещенные издания, данные мне Ганной на хранение. Я была уверена, что жандармы явились именно за этими книгами, и была готова защищать их всем моим существом.

— Что у тебя там в этой связке? — спросил отец.

— Книги.

Он подумал с минуту и затем вышел, закрыв за собою дверь. Мы поспешно оделись и открыли дверь. Бородулин вошел.

— Вы готовы? Я больше не буду ждать. В этот момент послышался стук в стену. Наши товарищи услышали громкий голос Бородулина и стали беспокоиться. Вся тюрьма проснулась. Стук повторился. — Подождите, — простучала я им. — Слушайте, — обратилась Спиридонова к Бородулину, — они не дадут нас увезти. Но если вы позволите нам объяснить им положение, они согласятся ради нас.

— Это против правил, и я не могу этого сделать, — отвечал Бородулин.

— Тогда позовите нашего начальника, — сказала я. Позвали Зубковского, который в это время находился на дворе.

— Что могу сделать для вас? — спросил он. Он знал, что трагедия неизбежно разразится, если мужчины подумают, что нас увезут силой.

— Убедите Бородулина дать нам свидание с Сазоновым и Карповичем*, — сказала Спиридонова. — Они одни могут повлиять на товарищей и уговорить их не устраивать протеста.

• * *Петр Карпович убил министра народного просвещения Боголепова в 1901 году. Он был перевезен в Акатуй из Шлиссельбургской крепости и в 1906 году. По окончании срока каторги он был сослан в Забайкалье и бежал от туда за границу*

Бородулин стоял тут же и спокойно рассматривал свои перчатки.

— Пойдемте, — сказал ему Зубковский, и они вышли. Несколько минут спустя Сазонов и Карпович были введены в нашу камеру. Сазонов был бледен, как привидение, и не мог выговорить ни слова. Он схватил руки Спиридоновой и держал их, глядя все время на солдат. Карпович весь дрожал.

— Вы не уедете, вы не уедете, — повторял он, скрежеща зубами и сжимая свои сильные кулаки. Его глаза были налиты кровью, лицо было багровым. Один момент я подумала, что он кинется на Бородулина, который отступил на несколько шагов, видя его в таком ужасном состоянии. Карпович действительно намеревался тогда убить Бородулина.

— Оставьте их на минуту, — сказал Зубковский Бородулину, и они вышли в коридор. Когда мы остались одни, Спиридонова начала горячо убеждать их не сопротивляться нашему отъезду. Они молчали. Бородулин и Зубковский вошли, и Бородулин объявил уже гораздо более мягким тоном, что он возьмет с собой фельдшера и что мы не будем останавливаться в этапках. Зубковский смотрел вопросительно на наших товарищей.

— Мы готовы, — сказала Спиридонова. Сазонов взял Карповича за руку, и они пошли к двери. Прежде, чем выйти, они еще раз обернулись и

начальник и доктор не хотели нас отправлять. Зубковский телеграфировал Метусу, что двое из нас больны и что жизнь наша будет подвергнута опасности, если мы пойдем этапом в такую погоду.

Несколько дней спустя начальник тюрьмы велел четверым из нас — Биценко, Измайлович, Езерской и Фиалке — готовиться в дорогу. С тяжелым сердцем мы попрощались с ними. Это было печальное расставанье, так как мы не знали, когда опять увидимся с ними. Оставшись одни в нашей опустевшей камере, мы думали и о наших товарищах. Была поздняя ночь, но мы не спали. Спиридонова чувствовала себя очень плохо после волнений этого дня. Она начала метаться и бредить, и я перешла на ее койку. С большим трудом мне удалось разбудить ее.

— Не спи, дорогая, не спи! — просила я ее, боясь, что припадок бреда снова овладеет ею, если она уснет.

Крепко обнявшись и прижавшись друг к другу, мы сидели молча, охваченные чувством крайнего одиночества и незащитности.

— Как долго еще до рассвета! — вздохнула Спиридонова; вдруг она стала прислушиваться.

— Слышишь? — спросила она.

— Нет, я ничего не слышу. Это ветер воет в горах, — попробовала я успокоить ее.

Но скоро снаружи послышались шаги и скрип открываемых дверей.

— Они пришли! — воскликнула я невольно. Мы слышали, как открылась дверь нашего коридора. Мы завернулись в наши одеяла, обнялись еще крепче и ждали. Тяжелые шаги раздались в коридоре. Они все шли, шли и, казалось, конца им не будет. Несколько человек подошло к нашей двери. Мы затаили дыхание.

Дверь с шумом открылась, и офицер с бумагой в руке стал возле нашей постели:

— Я — начальник Алгачинской тюрьмы Бородулин. Прислан сюда начальником каторги Метусом, чтобы перевести вас немедленно в Мальцевскую тюрьму. Я сделаю это, если бы даже пришлось вас взять голыми и расстрелять всю тюрьму. При первом сопротивлении с вашей стороны я употреблю силу, — и он указал по направлению к коридору, где стояли солдаты в полной готовности.

Я посмотрела на его свирепое лицо, на его белые перчатки, и трепет пробежал по всему моему телу. Спиридонова закрыла глаза, и я почувствовала, что она снова впадает в бред.

— Хорошо, — сказала я Бородулину. — Оставьте нас, чтобы мы могли одеться.

— Дай мне их. Я их спрячу.

Отец спрятал книги в карман сюртука и снова взглянул в окно.

— Они ушли, — сказал он, — но их лошади привязаны у нас на дворе.

Скоро жандармы вернулись, сели на лошадей и умчались, не заходя в наш дом. Когда они уехали, отец отнес связку моих книжек в поле позади нашего огорода и зарыл ее глубоко в землю.

На следующее утро мы узнали, что жандармы арестовали незадолго перед тем приехавшего из Вильны сына старосты синагоги за его сношения с нелегальной организацией. Это событие привело нашу деревню в состояние тревоги и большого возбуждения на несколько месяцев. Моя мать, которая часто говорила отцу, что я делаюсь “нигилисткой”, что я веду знакомство с “нигилистами”, теперь почувствовала себя вполне правой. Преследования, которым я подвергалась за чтение и за частые отлучки в город, теперь сделались еще более суровыми.

Однажды, когда отец и я остались одни, он сказал мне:

— Маня, ты должна быть благоразумной. Я знаю, что ты не сделаешь ничего дурного. Но ты бы лучше вернула эти книжки тем, у кого ты их взяла. Их нельзя держать в доме. — Папа, дорогой папа, — начала я возбужденно, — отпусти меня в большой город. Я хочу учиться и сделаться...

Тут я остановилась, так как сама не знала, чем я хочу сделаться. Отец посмотрел на меня своими ласковыми, ясными глазами и погладил меня по голове.

— Я не в силах больше видеть нашу бедность, — продолжала я, — я хочу уйти и узнать, как можно сделать нашу жизнь лучше. Вы увидите, какой образованной я к вам вернусь. И тогда мы уже не будем бедными.

Отец ходил взад и вперед по комнате, слушая меня в задумчивом молчании.

— У тебя есть дядя в Одессе. Он добрый и образованный человек. Я напишу ему о тебе и, если он согласится, я пошлю тебя в Одессу. Он мой любимый брат, и ему я могу доверить моего ребенка. Но ты должна быть хорошей девочкой и слушаться его.

Весть о том, что Маня, дочь Мордуха, едет в Одессу, облетела всю деревню с быстротой молнии. Наш дом был постоянно наполнен женщинами. Моя мать показывала им длинное коричневое платье, — мое первое длинное платье, — которое было сшито ради этого случая, а также три подушки. Три подушки и перина были необходимыми принадлежностями приданого еврейской девушки.

— Хотя она сейчас еще слишком молода, — говорила мать каждой посетительнице, — но кто знает? Может быть, она не захочет скоро вернуться домой, вырастет и найдет там свое счастье: город большой.

Поезд уходил в четыре часа дня, но я была готова с раннего утра. Я одела мое новое коричневое платье и вплела красную ленту в волосы. Три подушки, несколько грубых полотенец — работа моей матери — кусок домотканого полотна были упакованы в большой чемодан, и мои приготовления были закончены.

С тяжелым сердцем прошла я по полю и лесу, прощаясь с каждым уголком, с каждым кустиком и тропинкой. “Увижу ли я вас?” — думала я, глядя на зеленые луга.

Все пошли на станцию в Сморгонь, чтобы проводить меня: мои родители, братья, сестры, соседи и даже чужие. Ганна тоже пришла и принесла мне письмо к одному из ее приятелей в Одессе. Прощаясь со мной, отец сказал мне: — Я верю, Маня,, что ты будешь счастлива.

Мать плакала и долго целовала меня. Старший брат, Иохим, приехавший в отпуск домой, — он служил в армии, — дал мне свои последние пятьдесят копеек.

Наконец прозвучал третий звонок, и поезд медленно тронулся. Скоро все исчезло в клубах дыма. Не видя никого вокруг себя, кроме чужих, я села в угол и горько заплакала.

На третий день я приехала в Одессу. Когда я вышла из вокзала и увидела длинный ряд извозчиков с блестящими козырьками у шапок, мое сердце наполнилось радостью: “Как красиво здесь все одеваются”, — подумала я.

Я подошла к одному из них и сказала: — Пожалуйста, не отвезете ли вы меня к моему дяде, господину Школьник?

— Конечно, барышня, — отвечал он, покосившись на меня, — дайте его адрес.

Я была очень удивлена тем, что он не знает, где живет мой дядя. Я вынула из кармана моего платья кусочек бумаги и протянула ему.

— Хорошо, барышня, — и движением руки он пригласил меня сесть в его экипаж. Когда мы тронулись, он спросил, откуда я приехала. Я рассказала ему, зачем я приехала в Одессу, и он, усевшись боком на своем месте, слушал меня и одобрительно качал головой.

После долгого переезда мы остановились перед старым кирпичным зданием.

— Вот здесь живет ваш дядя, — сказал извозчик. Разочарованная, смотрела я на грязный, поврежденный бурями дом. Как я узнала позднее, мой дядя жил в самой бедной части города, называвшейся Молдаванкой.

распорядился, чтобы открыли ворота. Из погреба уже был прорыт ход, ведущий в открытое поле, и лошади уже ждали Гершуни в соседнем лесу. Все приготовления к дальнейшему побегу были сделаны Марией Алексеевной Прокофьевой, невестой Егора Сазонова, специально для этого приехавшей в Акатуй, с помощью других товарищей на воле.

Чтобы скрыть его отсутствие на два-три дня и дать ему возможность отъехать за это время как можно дальше, мы сделали чучело, одели его в одежду Гершуни и положили на его койку. Когда надзиратели пришли вечером на проверку, товарищи стали разговаривать с чучелом и надзиратели ушли, уверенные в том, что Гершуни на своем месте.

Когда надзиратели пришли в нашу камеру и мы увидели их спокойные лица, мы поняли, что все обошлось благополучно. Наша радость была неописуема. Мы уже представляли себе торжество партии и горячо обсуждали вопрос о том, где будет Гершуни к утренней проверке, но не прошло и часу, как мы услышали шум на дворе. Несколько надзирателей в большом волнении вбежали к нам в камеру и стали заглядывать под кровати. Мы поняли, что кто-нибудь донёс об отсутствии Гершуни, так как сама администрация могла заметить это только на следующее утро.

В страшном волнении мы ждали, что Гершуни поймают. Но так как дни проходили, не принося ужасной вести, наши страхи улеглись. Мы знали, что, если он не был схвачен в первый день побега, то позднее у администрации было меньше шансов поймать его.

Побег Гершуни послужил поводом для репрессий. Правительство снова почувствовало свою силу над залитой кровью страной, и первые, на ком оно хотело выместить свою злобу, были, конечно, политические заключенные. Многих разослали по другим тюрьмам. 50 человек были переведены в Горный Зерентуй. Чтобы подвергнуть нас всем строгостям каторжного режима, власти решили перевести нас в другую тюрьму.

В феврале 1907 года начальник каторги Метус телеграфировал начальнику Акатуйской тюрьмы Зубковскому, что политические женщины должны быть немедленно переведены в Мальцевскую тюрьму. Мария Спиридонова, которая еще не оправилась от мучений, которым она подверглась при аресте, была нездорова. Я тоже лежала больная, схватив воспаление легких. Путешествие среди зимы через Акатуйские горы могло грозить нам смертью. Этапные пункты, выстроенные много лет тому назад, представляли собой развалины, и провести в них ночь было все равно, что переночевать на улице.

Когда товарищи узнали о намерении администрации перевести нас немедленно, их негодованию не было границ. Они постановили силой сопротивляться отправке Спиридоновой и меня. Даже тюремный

подобными привилегиями. Выходя на прогулку, мы свободно разговаривали с другими заключенными и говорили о делах далекой России. Но месяц проходил за месяцем, и вести из России стали приходить все реже и реже и эти вести не могли поддержать наших надежд. Страна была подавлена торжествующей реакцией, и цепи самодержавия становились все тяжелее и тяжелее. Режим в тюрьме становился все хуже и хуже, и к концу 1906 года мы уже были лишены всех привилегий.

Мысль о побеге никогда не оставляет заключенного. Мы начали искать возможности бежать. Группа товарищей принялась рыть подкоп. Эта работа продолжалась в течение целого месяца, и подкоп довели уже до наружной стены, когда администрация открыла его. В течение нескольких месяцев несколько раз начинали снова рыть подкоп, и каждый раз администрация открывала его. В конце концов мы отбросили мысль выйти на свободу таким путем. Видя, что массовый побег невозможен, группа товарищей, во главе которой был Григорий Гершуни*, решила искать возможностей бежать поодиночке. Гершуни, самый полезный и способный член нашей группы, был выбран первым для побега.

• * *Один из организаторов боевой организации с.-р. Его обвинили в подготовке покушения на министра внутренних дел Сипягина, губернатора Богдановича в Уфе и в покушении на губернатора Оболенского в Харькове. Он был осужден к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой. Он был привезен в Акатуй из Шлиссельбургской крепости в 1906 году.*

Из многочисленных планов, обсуждавшихся среди нас, остановились на следующем: Гершуни должен бежать в бочке, в которой ставили капусту на зиму. Погреб, в котором помещалась капуста, находился за воротами тюрьмы. Капусту заготавливали заключенные, после чего бочку вывозили за ворота в погреб. Это счастливое обстоятельство и дало нам возможность удачно провести наш план.

Для того, чтобы Гершуни не задохнулся в бочке, в дне ее просверлили две дырочки, в которые были вставлены резиновые трубки. Трубки эти служили единственным источником воздуха для него. Он уселся в бочке, согнувшись чуть ли не пополам, так как она была слишком мала для такого рослого и плотного мужчины. На голову ему положили таз, чтобы предохранить ее от штыка часового, стоявшего у ворот и протыкавшего им бочку, чтобы убедиться, что из тюрьмы не вывозится никакой контрабанды.

Утром все было готово. Товарищи, которые должны были отвезти бочку в погреб, объявили старшему надзирателю, что капуста готова, и он

Я стала подниматься по темной, грязной лестнице, сопровождаемая извозчиком, который нес за мной мой чемодан. На одной из дверей четвертого этажа я увидела карточку с надписью: “Самуил Школьник. Учитель”. Я позвонила. Дверь открыл человек немного выше среднего роста, худой, с длинной бородой и блестящими глазами. На минуту я подумала, что передо мной мой отец, так велико было сходство. Это был мой дядя. Он очень тепло поздоровался со мной и, заплатив извозчику 45 копеек, провел меня в свою квартиру. Моя тетка и двоюродные братья и сестры окружили меня и рассматривали с видимым любопытством, заметив, что я пришла с непокрытой головой, тетка сказала: — Нужно будет купить тебе шляпу.

Мой дядя был учителем русского языка в еврейской школе. Он зарабатывал 60 рублей в месяц. Несмотря на такой небольшой заработок, он сумел все же дать хорошее воспитание своим детям — шести сыновьям и одной дочери. Один из его сыновей был гражданский инженер, другие учились в гимназии. Впрочем, дети сами зарабатывали себе на учебу, иначе оно было бы невозможно. Но их заработок был нерегулярный, и часто случалось, что вся семья жила на 60 рублей, зарабатываемые отцом.

В то время, когда я приехала в Одессу, революционные организации уже достигли прочного положения среди рабочего населения города. Во главе их были социал-демократы. Работа тайных организаций в то время состояла, главным образом, в организации просветительных кружков среди рабочих и в печатании и распространении запрещенной литературы, — преимущественно прокламаций. Это распространение производилось разными способами. Поздно ночью, когда все крепко спали, десятки молодых мужчин и женщин расклеивали их на фонарях и телеграфных столбах, на стенах домов и на заборах, разбрасывали их по улицам, по которым обычно рабочие проходили на работу, подкидывали их во дворы фабрики заводов. В театрах, в самый интересный момент действия, целый дождь листов сыпался вдруг с нескольких сторон. Это было царство бумажного террора, и полиция была бессильна против него. Прежде, чем она могла собрать и уничтожить прокламации, публика успевала прочесть с жадностью эти не прошедшие через цензуру слова, вопреки распоряжению губернатора, запрещавшему это под страхом шестимесячного тюремного заключения. Едва ли есть необходимость говорить о том, что прокламации горячо нападали на царский режим, объясняя рабочим, что никакое улучшение их экономического положения невозможно при политическом строе, запрещающем стачки и не допускающем свободы слова и свободы собраний.

Письмо, которое Ганна дала мне при моем отъезде, было адресовано к одному из лидеров революционной организации, социал-демократу. Когда я пришла к нему и заявила, что хочу учиться, он немедленно дал мне несколько прокламаций и обещал прислать кого-нибудь, кто мог бы учить меня.

Вернувшись домой, я дала дяде и двоюродным братьям прочесть некоторые прокламации. Я была уверена, что дядя, так же как и его дети, разделяли мысли, изложенные в них, но как велико было мое удивление, когда все эти люди, на которых я смотрела, как на очень образованных, пришли в ужас от моих запрещенных листовок.

— Эти вещи ведут в Сибирь, — кричали они хором. Дядя разорвал прокламации пополам и затем обратился ко мне:

— Это не деревня. Не ищи правды здесь, потому что это заведет тебя в тюрьму.

Я растерялась и не знала, как понять слова дяди. — Что вы хотите сказать? — спросила я. — Я оставила отца и мать, я ушла из родной деревни и явилась сюда, чтобы узнать правду, а вы запрещаете мне это. Как я могу согласиться на это?

— Ты еще дитя и мало понимаешь в таких делах, — сказал он. — Я имею взрослых сыновей, и ты не должно носить таких вещей в мой дом. Кроме того, ты приехала ко мне, и я отвечаю за твоё благополучие. Здесь нет больше никого, кто мог бы позаботиться о тебе. Мы все любим тебя и желаем тебе счастья. Несмотря на то, что я бедный человек, я хочу помочь тебе. Но ты должна быть очень осторожна.

Дня два спустя после этого разговора девушка, посланная тов. с.-д., пришла ко мне, чтобы позвать меня на тайное собрание, которое должно было состояться ночью. Ничего не сказав дяде, я ушла с нею.

Кружок, в который я была принята, состоял из девяти рабочих и одного интеллигента, который читал рабочим политическую экономию. Я была счастлива и гордилась тем, что они приняли меня к себе. Этот кружок позднее сыграл значительную роль в революционном движении Одессы.

Было уже поздно, когда я вернулась домой с собрания. Мой дядя не спал и, по-видимому, ждал меня. — Где ты была? — спросил он, и я ему все рассказала. — Ты не должна иметь ничего общего с этими людьми, — сказал он. — Если ты еще раз так уйдешь, я буду вынужден послать тебя обратно домой.

Я очутилась в затруднительном положении. Я не могла отказаться от книг и от людей, которые учили меня, но, с другой стороны, я не желала ехать домой, ничему не научившись. Несколько дней я провела в недоумении, не зная, что мне предпринять. Наконец, я нашла выход из

насколько мне помнится, была в Омске. Омские рабочие узнали от своих железнодорожных товарищей о дне и часе нашего прибытия и нетерпеливо ожидали нас на станции. Когда об этом стало известно местным властям, они приказали отцепить наш вагон в нескольких верстах от города и поставить на запасный путь, намереваясь, очевидно, привезти нас в Омск ночью или же отправить наш вагон отдельно, не останавливаясь на станции, как они потом стали делать с нами, боясь демонстраций. Но кто-то в поезде выдал замысел властей рабочим, собравшимся на станции, и последние потребовали, чтобы нас доставили в Омск.

Тысячи народа встретили нас на станции криками восторга, все громко требовали нашего появления 'на площадке вагона. К счастью, начальник нашего конвоя позволил нам выйти и обратиться с речью к толпе. Как только мы появились на площадке, все стихло. Мы просили толпу не пытаться освободить нас, так как не желали быть свидетельницами кровопролития. Мы говорили им, что уверены, что нам недолго придется побыть на каторге. В конце концов они согласились предоставить нам продолжать наш путь.

Долгое время толпа следовала за нашим поездом с красными знаменами, распевая революционные песни. Крестьяне бросали свою работу на полях и бежали смотреть на это необычайное зрелище. Они бросали нам в окна цветы, и скоро вагон был переполнен ими.

Был уже поздний вечер, когда звуки последних приветов замерли вдали. Такие же демонстрации — только в более скромных размерах — происходили и в других местах. Наконец, мы доехали до Сретенска. Отсюда мы должны были идти этапным порядком. Около 300 верст мы ехали с шиком на тройках. В середине июля 1906 года мы достигли места своего назначения.

Акатуйская тюрьма находится в маленькой деревушке Акатуй. Она пользуется известностью в истории революционного движения в России. Еще некоторые декабристы были сосланы туда. Туда же ссылались польские повстанцы 1863 года. Одно время тюрьма была необитаема, но в 1889 году она была перестроена, и с тех пор в ней перебивало немало политических заключенных.

Когда нас привезли в Акатуй, режим там не был суров. Волна реакции, которая прокатилась по России вскоре после октябрьского манифеста, еще не докатилась до этого забытого богом места, и местная администрация все еще верила в то, что в русской жизни началась новая политическая эра. С нами обращались очень хорошо. Нам было позволено носить собственную одежду, получать книги и пользоваться другими

городе. За это она была приговорена к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой.

• * *Ее сестра, Екат ерина, ст реляла в адмирала Чухнина после его расправы с солдат ами и мат росами черноморского флот а и легко ранила его. Она была расст реляна без суда, немедленно после покушения, во дворе дома Чухнина; адмирал сам скомандовал ст релять.*

Анастасия Биценко, которая убила в Саратове генерала Сахарова, одного из пяти генералов, посланных царем для подавления крестьянского восстания. Она была приговорена к смертной казни, которая была ей заменена бессрочной каторгой. Лидия Езерская, которая покушалась на жизнь могилевского губернатора Клингенберга за его активное участие в еврейском погроме в этом же городе. Она была приговорена к ссылке на каторгу на тринадцать лет. Ревекка Фиалка, которая была арестована в Одессе, судилась за лабораторию бомб и приговорена к десяти годам каторжных работ. И, наконец, Мария Спиридонова, которая убила в Тамбове губернского советника Луженовского, когда он возвращался с казаками с карательной экспедиции по деревням. Она была приговорена к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой.

Пересыльная тюрьма была страшно переполнена. В камерах, которые были выстроены для 25 человек, помещалось по 65 и даже по 100 человек. Каждый день по 200 и 300 политических отсылались в разные части Сибири, но каждый день столько же, если не больше, привозилось в Бутырки новых. Казалось, что вся Россия скоро будет выслана, но несмотря на то, что революция была подавлена, заключенные так глубоко верили в скорое освобождение России, что с легким сердцем шли на каторгу и в ссылку.

— Вы можете смеяться над вашими бессрочными приговорами, — кричали наши товарищи через оконные решетки. — Вам недолго придется оставаться там до того времени, когда *свободный* народ встретит вас в *свободной* России.

В конце июня, вечером, помощник начальника пришел к нам и сообщил, что все шесть каторжанок будут в тот же вечер отправлены, и велел спешно готовиться в путь.

— Нас отвезли на вокзал в закрытой карете и посадили в отдельный вагон, прицепленный к скорому поезду, отправлявшемуся в Сибирь.

Когда нас отправляли в Сибирь, революционное движение там еще не было подавлено. Рабочие организации городов, которые мы должны были проезжать, узнавали каким-то образом о нашем проезде и организовывали демонстрации в честь нас. Особенно трогательная демонстрация,

создавшегося положения; я решила оставить дом моего дяди. Я рассказала о своем намерении одной девушке, члену нашего кружка, и она предложила мне поселиться с нею, обещая найти работу на фабрике, где она работала сама. В тот же день я принесла к ней некоторые из своих вещей из дома дяди и поселилась с этой девушкой.

На конфетной фабрике “Братьев Крахмальниковых”, где работала моя приятельница, было несколько отделений. Несколько сотен девушек были заняты там заворачиванием конфет в заранее нарезанные бумажки. Работа была очень не сложна, и часа через два я уже умела делать это.

К концу дня кончики пальцев у меня на руках стали до того чувствительны, что прикосновение к жесткой бумаге причиняло мне ужасную боль. Капли крови просаживались сквозь стертую кожу. Я с отчаянием смотрела на мои руки, не зная, как продолжать работу. Девушки старались ободрить меня.

— Не пугайся, это всегда так бывает в первые дни. Это пройдет.

Рабочий день на фабрике продолжался от семи часов утра до семи вечера, с промежутком в один час для завтрака. Девушкам платили гроши. Были девушки, которые в течение дня успевали завернуть целую кучу конфет: они зарабатывали 30 копеек. Это считалось очень большим заработком, и немногие могли работать так быстро и зарабатывать так много. Около семи часов все несли свою работу на верхний этаж для взвешивания. К моему великому удивлению, я завернула только полпуда. Когда мы выходили с фабрики, нас обыскиали. Это меня очень смутило. Такой обыск производился каждый вечер. Если у девушки находили конфеты, ее немедленно увольняли.

На этой фабрике я проработала больше шести месяцев. Концы моих пальцев стали твердыми, как пергамент. Обыски больше не смущали меня. Бывали дни, когда и я зарабатывала по 30 копеек, к большому удовольствию нашего кружка.

Из семи человек у нас образовалось нечто в роде коммуны. Это были: Женья, фабричная девушка 22 лет, которая была очень пылким агитатором и организатором стачек; Сема — фабричный рабочий; Давид — приказчик; Аарон Шпайзман — переплетчик, до того уже сидевший в тюрьме за распространение нелегальной литературы; Николай — живописец, ставший социалистом и присоединившийся к нашему кружку после освобождения из тюрьмы, куда он был посажен за проповедование толстовского учения; Израиль — единственный интеллигент в нашем кружке и я. Редко случалось, чтобы все мы имели работу. Иногда бывало так, что весь кружок существовал на заработок одного или двух. Случалось, что и никто из нас не имел работы. Тогда мы все ждали

вечера, когда придет Израиль и выложит свои последние медяки на стол. Тогда мы садились за “завтрак”.

Но такие пустяки не смущали членов нашего кружка. Все они принимали активное участие в революционной работе и все были увлечены ею. Они организовали тайную типографию и печатали и распространяли прокламации целыми тысячами. Они устраивали новые агитаторские кружки и вели пропаганду в мастерских и на фабриках. Конечно, каждый из них сознавал, что их неизбежно ждала тюрьма, одиночное заключение и ссылка, но это не могло остановить их. Несмотря на то, что они ждали ареста в любой час дня или ночи, свободное время они проводили так весело, как будто ничего особенного не могло с ними случиться.

Я недолго оставалась “зеленой” среди них. Скоро они открыли мне глаза на окружающую действительность. Я все еще мечтала о лучшей жизни, но теперь я сознавала, что осуществление ее возможно только в далеком будущем. Я тогда уже входила в с.-д. организацию, а позднее стала членом “агитаторского кружка”.

С юношеским пылом я принялась агитировать фабричных девушек, предлагая им провести стачку за увеличение заработной платы. Старший мастер скоро обнаружил это и уволил меня. Я нашла работу на конверточной фабрике, но так как и там продолжала агитацию, то вскоре была вынуждена искать другого места.

В таких переходах с одной фабрики на другую прошло два года. Наш маленький кружок значительно увеличился и стал известен в революционном движении под названием “южной группы”. Из старых членов, кроме меня, оставался только Шпайзман. Женья и Израиль были в тюрьме. Давида забрали на военную службу.

Однажды члены нашего кружка направились распространять прокламации. Я и несколько других товарищей пошли в театр. Мы разместились на галерее в разных углах и стали ждать конца представления. Как только занавес опустился, каждый из нас бросил вниз по две пачки прокламаций. Весь пол партера покрылся ими. Полицейский, дежуривший в здании театра, немедленно побежал на галерею. Швейцар, стоявший у двери, видел, как я бросила прокламации. Он схватил меня за плечо и стал звать полицию. Но галерея была переполнена рабочими и студентами; все они сочувствовали нам. Дюжина рук схватила меня и вырвала из рук швейцара. Началась драка. Кто-то накинул большой платок мне на голову. Прибежавшая на галерею полиция заперла дверь и стала искать “преступников”. Швейцар, сопровождаемый полицейским, тщетно искал меня. Я уже сидела на

внезапная пустота. Я ничего не ощущала в своей душе. Оборвалась нить моей внутренней жизни, и я тщетно старалась собрать утерянные концы.

ГЛАВА VI

Скоро началась моя новая жизнь, столь любезно подаренная мне царем. Меня вызвали в контору, и начальник тюрьмы предложил мне подписать бумагу, в которой значилось, что смертный приговор мне заменен пожизненной каторгой. Затем он объявил мне, что я буду закована в кандалы. Торжественное выражение его лица, с которым он мне сказал это, показалось мне смешным. Какое значение могут теперь иметь для меня кандалы?

Доктор осмотрел меня для проформы и заявил, что я “гожусь”. Скоро все ножные и ручные кандалы, какие могли быть только найдены в огромной тюрьме, были принесены в контору и примерены на меня, но все оказались слишком велики и спадали с моих рук и ног. Наконец, начальник нашел выход из затруднительного положения: был вызван кузнец, мои кисти и щиколотки были измерены, и скоро новые кандалы были готовы. Не знаю, по ошибке или с умыслом, они были сделаны такими узкими, что на второй день мои руки распухли. Это причиняло мне мучительную боль. Я старалась изо всех сил скрыть это обстоятельство от начальника, так как была уверена, что кандалы были одеты по его личному желанию и мои страдания только доставили бы ему удовольствие.

Через несколько дней меня повели на вокзал и посадили в поезд, идущий на Москву. В дороге солдаты конвоя, — их было четверо, — на свой риск и страх сняли с меня ручные кандалы. В этом же вагоне, в другом отделении, сидел конвойный офицер. Каждую минуту он мог войти и увидеть, что мои наручники сняты. Я просила солдат снова одеть их на меня, но они не хотели об этом и слышать. И только когда мы уже подъезжали к Москве, они снова заковали меня.

Когда меня привели в контору московской пересыльной тюрьмы — Бутырки, начальник очень удивился, увидев меня в кандалах. Он обменялся многозначительным взглядом с секретарем и что-то шепнул ему. Через три дня кандалы были сняты.

Вскоре после моего прибытия в Бутырки, туда было привезено пять женщин-революционерок. Александра Измайлович, дочь генерала, который тогда еще не вернулся с Манчжурской войны. Она покушалась на жизнь минского губернатора во время еврейского погрома в этом

ожидании смерти. На седьмой день послышался стук в стену. Мое сердце радостно забилося: у меня есть сосед.

— Кто вы? — простучала я; и последовал ответ ясный, безошибочный:

— Шпайзман.

“Неужели? — воскликнула я, — он здесь, его еще не повесили?”

Вскоре мы были уже глубоко погружены в разговор. Выяснилось, что он провел все это время в военной тюрьме, и его только что перевезли сюда.

— Это последний день, — простучал он.

— Да, я уверена, — отвечала я. Мы торопились поделиться друг с другом всеми мыслями и чувствами, всем, что мы пережили за годы нашей дружбы, которую не порвали ни тюрьма, ни изгнание.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — стучал Шпайзман. И чувство, глубоко скрытое до сих пор в душе его, в этот час смерти свободно выразилось словами.

Я не могла больше стоять у стены. Совершенно обессилив, я бросилась на койку. Час проходил за часом. Наступила ночь. В коридоре раздался необычный шум. Я удерживала дыхание и прижимала руки к сердцу. Я слышала, как открылась дверь соседней камеры. “Они пришли за Колей”, — подумала я. Я прислушалась. Кто-то приблизился к моей двери.

— Прощай, моя любимая. Прощай, моя дорогая!

— Коля! Коля! — закричала я, но толстые стены заглушили мой слабый голос. Я прижалась в угол и слушала. Звук шагов становился все тише и тише и замер наконец. Я прислонилась к стене, через которую разговаривал Коля. Там его уже не было.

Кто-то осторожно открыл мою дверь и вошел в камеру. — “Наконец”, — подумала я и, вскочив, повернулась лицом к моим палачам. Начинаясь рассвет, и маленькая лампочка, освещавшая мою камеру, едва мерцала в свете нарождавшегося дня. Начальник тюрьмы подошел и стал смотреть мне в лицо, не говоря ни слова. Было что-то злое в его взгляде. Я поняла, что он пришел с места казни. Он простоял так минут пять и вышел.

Я лежала с открытыми глазами на постели. Тюремные часы пробили десять. Дверь моей камеры широко распахнулась, и вошел какой-то чиновник.

— Я принес вам высочайшее помилование. Вам дарована жизнь, — сказал он и ушел.

Медленно проходили часы. Я лежала неподвижно на койке, стараясь постичь огромное значение этого факта. Но во мне образовалась

другом конце галереи, с виду совершенно равнодушная к происходившему вокруг. Серый платок скрывал мое лицо от глаз сыщиков.

Работа в Одесской с.-д. организации того времени не соответствовала моему революционному настроению. К тому времени с.-р. развили большую активность в Одессе, и я под влиянием их литературы перешла к ним.

Одной из насущных нужд нашей группы было устройство типографии. Литература, присылаемая из Киева, получалась нерегулярно и подвергалась большому риску. В Одессе устроить типографию нашли невозможным, так как жандармы уже следили за нами. Некоторые члены нашей группы уже были арестованы. Поэтому решено было устроить типографию в Кишиневе, который находится в нескольких часах езды от Одессы.

С полным набором шрифта и различных типографских принадлежностей я приехала в Кишинев. Там я встретила группу товарищей, среди которых были Яша Гринфельд, Гриша Кофф, Аарон Шпайзман и другие. С их помощью я устроилась на квартире у Бронзмана, которая служила убежищем для нелегальных. Мой чемодан со шрифтом был зарыт Бронзманом в его сарае.

Устроившись таким образом и найдя себе работу как белошвейка, я стала ожидать обещанного наборщика и материала. Революционное настроение в Кишиневе тогда уже начинало проявляться. Скоро после моего приезда туда мне удалось принять участие в демонстрации, устроенной рабочими и студентами перед домом губернатора в связи с высылкой одного студента в Сибирь.

Проходили дни и недели, а обещанный материал все еще не появлялся. Я писала письмо за письмом, не получая никакого ответа. Наконец, я решила сама отправиться в Одессу на разведку. Но непредвиденное обстоятельство помешало мне привести в исполнение мое намерение.

ГЛАВА III

В начале февраля 1902 года ночью мы были разбужены громовым стуком в дверь. Прежде, чем старик Бронзман успел снять крючок, раздался треск, и дверь распахнулась. Комната наполнилась жандармами и полицией. Не говоря нам ни слова, они принялись осматривать дом — квартира состояла из двух комнат и кухни, начался долгий и тщательный обыск. Каждая вещь в доме была перевернута вверх дном. Они разрезали подушки и матрацы, разрывали подкладку в старых шапках, заглядывали

за картины на стенах. Но ничего подозрительного не было найдено. Разочарованные жандармы собирались уже уходить, когда один из них взял в руки мое платье, которое лежало на стуле. Он пошарил в кармане и вытащил несколько букв шрифта. Это были заглавные буквы, которые я раздобыла у одного знакомого наборщика с целью увеличить мои запасы. Лица у жандармов мгновенно изменились. Каждый из них тщательно осматривал злополучные буквы. Они обращались с ними с большой осторожностью, точно это были не маленькие металлические буквы, а разрывные снаряды.

Жандармский офицер сел и начал писать протокол. Он только спросил меня:

— Это платье принадлежит вам?

— Да.

— Вы арестованы. Оденьтесь.

С этими же словами он обратился к тов. Шпайзману и к хозяину квартиры. Жена его и девочка начали плакать. В большом волнении я пыталась объяснить офицеру, что Бронтман ничего не знает относительно букв, которые найдены в моем кармане, но он грубо прервал меня:

— Разговаривать не полагается.

По команде офицеров, жандармы окружили нас и вывели из дома. Хозяйка рыдала. Девочка, которая с плачем кинулась за отцом, была грубо отброшена назад.

Ночь была темная и холодная. Окруженные со всех сторон жандармами, мы пошли посередине улицы. Мы шли молча, и это молчание было ужасно для меня. Я не могла разобраться, в чем была моя вина перед тов. Бронтманом, но чувство виновности все росло во мне. Я совершенно забыла о том, что иду в тюрьму. Вид этой седой головы, склоненной перед жандармами, заслонял мысли о моем собственном положении.

Наконец мы пришли, и тяжелые ворота тюрьмы захлопнулись за нами. Нас провели в контору. Там нас обыскали. Начальник тюрьмы записал наши фамилии и приказал одному из надзирателей отвести нас в камеры.

Надзиратель остановился в полуосвещенном коридоре и открыл одну из дверей. Я вошла, и он немедленно закрыл за мною дверь и повернул ключ в замке. Я остановилась возле двери, прислушиваясь к звуку его удаляющихся шагов.

Я стояла в этой полутемной камере, не имея желания двинуться с места. В голове была одна только мысль о том, что дверь заперта и я уже не могу уйти отсюда.

Слабый свет наступающего дня начал проникать сквозь двойные решетки, и я смогла рассмотреть окружающие меня голые стены. Дневной

— Неужели прошло уже 24 часа? — невольно спросила я жандарма. — Который час? — Шесть часов утра, — отвечал он. “Несколько часов раньше или позже повесят меня, не все ли равно”, — подумала я.

Солнце еще не всходило. А мне так хотелось увидеть солнце!

— Где это будет? — спросила я жандарма, но он смотрел на меня в смущении и не отвечал. Вдруг я вспомнила о письме, которое я приготовила для родителей; это было мое последнее слово к ним. Я оглянулась кругом. Никого не было, кроме этого жандарма.

— Послушайте, сказала я ему. — Я не могу спокойно пойти на виселицу, не отослав этой записки моим родителям. Это последнее желание женщины, идущей на смерть, и вы не можете ей отказать. Кто бы вы ни были, у вас есть или были родители, и вы должны понять их горе.

Я вложила письмо в его руку. Он спрятал письмо и сказал:

— Хорошо, я отошлю его. Но сейчас я повезу вас не на место казни, а в тюрьму. — Они там меня повесят, — уверяла я его. Позже я узнала, что мои родные никогда не получали этого письма. Но, во всяком случае, он был славный, этот жандарм, потому что мысль о том, что мои родители получают мое последнее слово, придавала мне много бодрости, и я могла умереть спокойно. В закрытой карете я была отвезена в городскую тюрьму. — Я должна буду ждать здесь целый день, — думала я. День прошел быстро и наступила ночь. Я легла на койку, не раздеваясь. С тревогой прислушивалась я к шагам надзирателей в коридоре.

Медленно тянулись часы. Все время слышались шаги; часто они приближались, к моей двери, но каждый раз проходили мимо. Наконец, я заснула.

Когда я проснулась, солнце было высоко. Необузданная радость жизни охватила меня. Я ощупывала свои руки и ноги, и счастливое сознание, что я жива, было сильнее смертного приговора, который висел надо мной. Каждый звук, который я могла уловить, радовал меня. Крошечный кусочек неба, который я видела сквозь решетку, притягивал меня к себе. Я прошлась по камере, и мои мечты унесли меня далеко от тюремных стен. Великое чувство любви к жизни, любви ко всему живущему все больше и больше вырастало во мне и побеждало смерть.

“Они повесят тебя сегодня ночью”, — старалась я убедить себя, но эти слова казались мне бессмысленными. Они не Могли победить во мне веру в жизнь, во все живущее. Мои тюремщики больше не раздражали меня. В моей душе не было больше ненависти к этим обманутым людям.

Целый день я находилась в этом состоянии, а к вечеру я снова стала готовиться к смерти и ждать. Шесть дней прошло таким образом в

Вскоре я была переведена в военную тюрьму. Мне объявили, что на следующий день меня будет судить военный суд. В 10 часов утра тов. Шпайзман, Яша Лейкин и я предстали перед военным судом. Когда нас ввели в зал суда, он был наполнен жандармами и полицией. В углу сидели несчастные старики, родители Лейкина. Кроме них, публики не было.

Церемония суда продолжалась недолго. Нам предложили сказать наше “последнее слово”. Тов. Шпайзман и я, подтвердив свою принадлежность к боевой дружине с.-р. и покушение на Хвостова, категорически заявили, что Лейкин никакого участия в покушении не принимал и не имел никакого отношения к боевой дружине. Лейкин виновным себя не признал.

Прокурор в своей речи требовал смертной казни для всех троих.

После этого суд удалился совещаться о приговоре, а нас увели в камеры. Ужас охватил меня при мысли, что они могут повесить Лейкина. В течение нескольких часов я шагала по своей камере. Солнце село. Стало темно, а судьи все еще совещались. Часы пробили полночь. Кто-то тихо открыл дверь. — Пожалуйте в судебный зал.

Жандарм говорил шепотом. В коридоре был полумрак. Слышался звон шпор, бряцание сабель и шум торопливых шагов. Жандармы и полиция были повсюду. Зал суда был слабо освещен, и лица судей выглядели утомленными и угрюмыми. Наконец председатель суда, старый генерал, стал читать приговор:

“Неизвестный”* приговаривается к смертной казни через повешение. “Неизвестная” приговаривается к смертной казни через повешение. Яков Лейкин приговаривается к каторжным работам на 10 лет.

• * *Тов. Шпайзман тоже судился, как “неизвестный”.*

Мы почувствовали себя так, как будто огромная тяжесть свалилась с наших плеч. Мы стали поздравлять Лейкина и прощаться с ним.

— Десять лет каторжных работ! — сказала я громко. — Вы и года не отбудете, как Россия будет свободна.

Судьи глядели с удивлением на наши оживленные лица, а один жандарм прошептал другому: — Они, вероятно, не расслышали своего приговора. Нас отвели назад в наши камеры.

“Это смертный приговор? — спрашивала я себя, оставшись одна. — Но почему на душе у меня так светло? Почему я не чувствую того, что случится через 24 часа?” — Я заглядывала в каждый уголок моей души, я прислушивалась к самым сокровенным ее движениям и мыслям, но не находила там признака смерти. Наконец, я забылась...

— Одевайтесь! Одевайтесь! Этот голос сразу привел меня в сознание.

свет как будто разбудил мою энергию. Моей первой мыслью было — выглянуть в окно. Серые каменные стены, которые окружали тюрьму, казались совсем невысокими с места моих наблюдений.

“Я убегу отсюда”, — решила я немедленно. — Я не могу оставаться в этой дыре”.

Несколько дней спустя меня вызвали на допрос. Жандармский полковник встретил меня весьма радушно. Его широкое лицо улыбалось, и маленькие, серые глазки смотрели вкрадчиво:

— Садитесь. — Он указал на стул, стоявший у стола. — Как ваше имя? Фамилия? Сколько вам лет? Я сказала ему.

— Вы слишком молоды для того чтобы сидеть в тюрьме и мне будет очень приятно выпустить вас. Хотя все зависит от вас.

— Каким образом? — спросила я, удивленная.

— Вам стоит только сказать, — при этом он вынул из ящика стола буквы шрифта, которые были найдены у меня в кармане, — кто дал вам это, и я немедленно вас освобожу.

— Я отказываюсь давать показания, — ответила я.

— Это было бы очень неблагоприятно с вашей стороны, — сказал полковник. — Вам будет плохо и вы об этом пожалеете.

Я молчала. Жандармский полковник пододвинул ко мне бумагу и сказал:

— Подпишите эту бумагу.

— Я отказываюсь давать показания, — повторила я.

— Тем хуже для вас, — сказал он, сразу меняя тон. Он встал, открыл дверь и позвал надзирателя. — Допрос окончен. Отведите заключенную в камеру. Приятное сознание, что я не попала в ловушку к жандарму, наполняло меня. Я стала ходить по камере, не зная, как найти выход наполнявшим меня чувствам.

“Возможно, что меня долго продержат здесь”, — подумала я. Мне тогда не было еще полных 17-ти лет. Жизнь только начала раскрываться предо мной. Все в мире казалось мне прекрасным и привлекательным. И вдруг каменные стены тюрьмы надвинулись и заслонили весь мир.

Долго я не могла поверить, что мне придется остаться здесь. С утра до вечера я мечтала о том, как откроется моя дверь и надзиратель скажет: “Вы свободны!”.

Три раза в день он приходил, принося мне пищу, и каждый раз, когда я слышала его шаги возле двери, мое сердце наполнялось надеждой, что сейчас он произнесет эти магические слова: “Вы свободны”. Но проходили дни, недели, месяцы, а надзиратель по-прежнему, вместо свободы, приносил мне хлеб и кашу.

Темнота и сырость камеры стали оказывать на меня свое влияние. Я начала страдать бессонницей. Двадцатиминутная прогулка на тюремном дворе была для меня пыткой. Солнце так ярко светило за стенами тюрьмы, а я была лишена света и свободы, без которой, — я чувствовала, — я не могу жить.

Сначала я была одна в женском отделении, так как все другие политические женщины находились в мужском корпусе. Там содержались уже многие товарищи: Леон Гольдман, один из активных деятелей с.-д. партии. В его доме найдена была тайная типография “Искры”. Вместе с ним были арестованы его жена. Маня Гольдман, Феня Корсунская, жившая у них под видом прислуги, и Гриша Элькин. Там же находилась Нина Глоба, арестованная по делу Кишиневской демонстрации, как одна из организаторов ее; она также привлекалась по делу о сношениях с киевской группой “Искры”.

Я недолго оставалась одна. Скоро начались аресты, и ко мне в камеру посадили еще двух женщин: Женю Годлевскую и Розу Розенблюм. Последняя сейчас же после ареста объявила голодовку, требуя освобождения. Несмотря на то, что в мужском корпусе не все были согласны, мы все присоединились к голодовке, которая продолжалась целую неделю. В результате этой голодовки Розенблюм освободили.

После голодовки все политические женщины были переведены в наш корпус. В нашу камеру тогда поместили Нину Глоба, Феню Корсунскую, Маню Гольдман с маленьким ребенком и нескольких других. С Ниной Глоба я особенно подружилась. Это был ярко выраженный тип революционерки. Она прямо-таки горела ненавистью к своим тюремщикам и не пропускала ни одного случая заявить им это открыто. Несмотря на ее молодость — ей тогда было 18 лет — она внушала начальству уважение к себе своей сильной волей. Она часто служила посредником между нами и тюремным начальством, и мы были уверены, что она наши интересы защитит до конца, вплоть до карцера и голодовки. Благодаря ей, мы имели постоянную связь с волей. Ее мать и сестры сочувствовали нам и приносили нам не только письма и записки от товарищей, но даже нелегальную литературу.

Вообще мое пребывание в Кишиневской тюрьме памятно мне, как сплошная борьба с администрацией. К нам применялись жестокие репрессии за малейшие провинности, вроде переговаривания с товарищами в другом корпусе. Однажды два товарища, Вася Броска и Хаим Нахманберг, за это были вызваны в контору, жестоко избиты там и брошены в карцер. Когда мы узнали об этом, мы подняли бунт. К нам в камеру ворвались надзиратели, чтобы тащить нас в карцер. Когда

— Но мой сын просил, чтобы мы позаботились о вас, — отвечала она.

Юноша — это был Яша Лейкин, а старики — его родители — вернулись откуда-то сильно взволнованный и сказал, что полиция проследила меня по кровавым следам и скоро, вероятно, будет здесь.

— Ох! ох! — застонала старуха и в ужасе стала бегать по комнате. Я подошла к двери с намерением уйти, но старуха закричала:

— Что вы делаете? полиция увидит вас, и мы все погибнем.

Вдруг она открыла потайной шкаф, толкнула меня в него и заперла дверцу. Подавленная и обессиленная, я прислонилась к дверце шкафа, не смея дышать. Отдаленный шум достиг до меня. Он становился все ближе и ближе. Я слышала топот многих ног недалеко от того места, где меня спрятали. Мои колена согнулись, и я потеряла сознание.

Поздно ночью я нашла себя сидящей за столом. Комнату освещала одна свеча. Старуха шептала мне на ухо: — Благодаря бога, мне удалось спроводить их. Я не могла понять, о чем она говорит. Я чувствовала острую боль в голове; все тело мое горело. Я ни о чем не думала и желала только покоя.

Вошел Яша Лейкин, неся в руках солдатскую шинель и шапку; они одели меня и, поддерживая под руки, вывели во двор. Они посадили меня в сани, Лейкин сел возле меня, и мы поехали. Мы долго ездили по городу, проезжая кое-где мимо патрулей из солдат и полиции.

Наконец, мы благополучно выехали из города и к утру приехали в Городню. В этом маленьком городишке, где я должна была сесть на поезд, мы были остановлены полицейским приставом с солдатами. Они забрали нас в полицейский участок и держали там до прихода отряда казаков. Меня посадили в закрытую карету и повезли обратно в Чернигов. Мы приехали туда вечером. В камере полицейского участка, куда сначала поместили меня, было совершенно пусто. Я легла на пол. Жандарм с обнаженной саблей стоял около меня. Как только я начинала засыпать, жандарм будил меня и спрашивал: — Кто ваши соучастники? Как их зовут? Несмотря на мою слабость и полное изнеможение, этот вопрос всегда приводил меня в сознание. Я отлично знала, зачем жандарм спрашивал это, и молчала.

Такая пытка продолжалась недолго. Жандармы поняли, что их ухищрения не могут достичь цели, и перестали будить меня.

При допросе у прокурора я не отрицала факта покушения, но отказалась назвать себя и предстала перед судом, как “неизвестная”. Скрыв свое имя, я надеялась оградить моих родителей от страданий за дочь, которая должна умереть на виселице, и товарищей от ареста.

на снег и не разорвалась. Полицейский чиновник, который ехал впереди губернатора, прыгнул к товарищу Шпайзману, и я услышала револьверный выстрел. Карета остановилась на момент; но, очевидно, поняв положение, кучер начал стегать лошадей и пустил их галопом ко мне навстречу. Я сошла на середину мостовой и бросила бомбу в окно кареты. Страшный удар оглушил меня. Я почувствовала, что поднимаюсь на воздух.

Когда я пришла в сознание и открыла глаза, я стояла возле извозчика, и меня поддерживала какая-то женщина. Она говорила что-то извозчику, но я ничего не могла расслышать. Она посадила меня в сани, и извозчик поехал. Он проехал мимо моего дома, переехал через мост, где всегда стоял городской, но в этот момент его там не было. Мы проехали вдоль всей улицы и не встретили ни одного живого существа.

“Что это значит? Где же все люди?” — подумала я. Извозчик повернул в какую-то улицу и остановился перед домом. Вывеска больницы моментально привела меня в полное сознание. Я поняла, что каким-то чудом уцелела при взрыве и что меня везли не в тюрьму, а в больницу. Я заплатила извозчику, подождала, пока он скрылся за углом, и пошла дальше. Я шла долго, совершенно не зная, ни где я нахожусь, ни куда я иду. Я чувствовала, что силы оставляют меня и что скоро я упаду среди улицы. Случайно я увидела открытые ворота. Я вошла во двор и села на снег. Мысль о том, что я спаслась, не утешала меня. Я знала, что всякий, кто захотел бы скрыть меня, погибнет вместе со мной.

Чтобы остановить кровь, струившуюся из раны на голове, я положила снегу в носовой платок и приложила его к голове. Это немного освежило меня. Тогда я сняла с себя меховое пальто и легла на него. Я почувствовала страшную слабость во всем теле, и тяжелое оцепенение охватило члены. Я не знаю, долго ли я лежала там, как вдруг я почувствовала, что кто-то меня дергает за рукав. С трудом я открыла глаза. Возле меня стоял юноша. Он наклонился близко к моему уху, и я ясно расслышала:

— Это вы убили губернатора? Вы?*

• * *Хвост ов не был убит взрывом, а т олько ранен.*

Юноша поднялся, взглянул еще раз на меня и ушел, не сказав ни слова. Не прошло и пяти минут, как он вернулся назад вместе с согбенным стариком. Они подняли меня и внесли в дом. Теплый воздух и холодная вода, которой они смочил мне голову, совсем привели меня в сознание. Я сообразила, что эти бедные евреи подвергают себя опасности.

— Я должна уйти отсюда, — сказала я старухе-хозяйке, которая уговаривала меня лечь на их единственную кровать.

надзиратель хотел взять Маню Гольдман, она отказалась идти, говоря, что не может оставить ребенка. Тогда начальник распорядился взять ее силой. В сопровождении нескольких солдат он вошел в нашу камеру. Гольдман держала ребенка на руках, прижимая его к своей груди.

— Солдаты, — обратилась она к ним, — неужели у вас настолько нет сердца, что вы отнимете меня от моего ребенка?

Ребенок, испуганный видом чужих людей, кричал во весь голос, солдаты отступили назад и не смели приблизиться к ней. Тогда к ней подошел сам начальник, схватил ее за руки и сжал их выше локтя. После борьбы, продолжавшейся несколько минут, ребенка вырвали из рук матери.

— Возьмите его, — сказал начальник солдатам, — и унесите его отсюда.

Нина Глоба и я схватили поленья, лежавшие возле печки, и начали швырять ими в начальника, который отскочил назад. Он приказал взять и нас обеих в карцер.

Когда нас вели в карцер, вся тюрьма бушевала. Шум от бросанья мебели, стука и криков был оглушительный. Уголовные тоже присоединились к протесту политических.

Скоро приехал прокурор. Он обошел все камеры и уверил всех, что товарищи Броска и Нахманберг будут выпущены из карцеров. Действительно, через несколько часов нас всех выпустили. В мужском корпусе все политические были переведены в карцер на две недели. Пришла пасха 1903 года — вторая в тюрьме. На второй день ее необычные звуки достигли до нашего слуха. То громче, то тише, они, казалось, проникали в нашу камеру со всех сторон. Надзиратель стал все чаще пробегать мимо нашей двери. Мы все встревожились: что может это означать? Мы спросили у надзирателя. Он смотрел на нас несколько мгновений и затем прошептал: — Приказано убивать жидов, вот что это значит. Кровь бросилась мне в голову при этих словах. Я осталась стоять у двери, не будучи в силах сделать ни шагу.

Странное зрелище предстало нашим глазам, когда нас вывели на прогулку. Весь двор тюрьмы был покрыт перьями, которые ветер занес из города. Это были перья из еврейских подушек и перин, разорванных погромщиками.

Два дня и две ночи продолжалось избиение евреев, и их отчаянные вопли слышались в нашей тюрьме. Только на третий день начали арестовывать громил.

Спустя некоторое время к нам в тюрьму привезли Давида Ройтерштерна. У него нашли мои письма и арестовали где-то в Польше,

где он находился на военной службе. Эти письма послужили самой серьезной уликой против меня, так как в них я самым определенным образом высказывала свои взгляды на царизм и обсуждала меры борьбы против него.

Через несколько дней меня вызвали на допрос. Жандармский полковник встретил меня с торжествующим видом.

— Признаете ли вы эти письма, — при этом он вынул связку моих писем к тов. Ройтерштерну, — найденные у рядового Ройтерштерна и написанные по-еврейски, вашими?

— Я отказываюсь от показаний, — ответила я.

Полковник тогда сказал:

— Предварительное следствие по вашему делу закончено, и по распоряжению его высокопревосходительства, министра внутренних дел Плеве, вы будете преданы суду.

Допрос был окончен, и меня отвели в мою камеру. После этого допроса для меня стало ясно, что меня нескоро выпустят.

Весть о том, что Гольдманы, Корсунская, Гриша Элькин, Шпайзман и я будем преданы суду, дошла до товарищей на воле. Этот поворот от практиковавшейся долгое время системы административной ссылки вызвал большой интерес среди либеральных кругов России. Несколько известных адвокатов — Маклаков, Кальманович, Ратнер и другие — написали прокурору, предлагая выступить в качестве наших защитников.

Наконец, нам вручили копию обвинительного акта. Статья, по которой мы обвинялись, карала каторгой от 8 до 12 лет

Суд был назначен на 6 октября 1903 года. За несколько дней до суда я была вызвана в тюремную контору. Вместо жандармов, которых я ожидала встретить, я увидела двух мужчин в штатском. Надзиратель назвал им мою фамилию и вышел. Первый раз со времени своего ареста я оказалась наедине с свободными людьми без неизбежных жандармов. Один из посетителей обратился ко мне: — Я — Кальманович, присяжный поверенный, а это мой коллега — Ратнер. Мы приехали вас защищать. Вы действительно автор тех писем, которые упоминаются в обвинительном акте?

— Да, конечно, — отвечала я.

— Сколько вам было лет, когда вы писали эти письма? — спросил Ратнер.

— Шестнадцать.

— Ужасно, ужасно! — воскликнул Кальманович. — 8 лет каторжных работ за письма, написанные в 16 лет!

Я приняла их и с лихорадочной поспешностью стала отдавать им все, что попадало под руку. Непреодолимое желание побыть еще хоть немного в обществе этих детей охватило меня, и я стала просить их снять маски и выпить со мной чаю. Они колебались, но когда старший мальчик снял маску, все последовали его примеру. Я приготовила чай и усадила детей за стол. Они становились все смелее и скоро беззаботно болтали и с любопытством разглядывали меня и все, что было в доме.

Самовар весело шумел на столе, дети громко смеялись, солнце ярко светило в мое окно. На момент я забыла о том, что должно было случиться через несколько часов. Вдруг мимо дома промчались казаки, за ними карета. Я узнала ее. Дети продолжали смеяться, но я уже не слышала их.

— Идите, идите, дети, уже пора! — воскликнула я. — Но сначала давайте попрощаемся.

Они смотрели на меня с удивлением. Их милые лица омрачились сожалением, их худенькие, немытые ручки потянулись ко мне. — Не забывайте меня, дети! — сказала я.

Они покрестились на угол, пожелали мне счастливого Нового года и спокойно пошли домой. Я поспешно оделась, взяла свою ручную сумочку и вышла на улицу.

День был ясный и холодный, на небе ни облачка. Улица была почти пуста, — только изредка появлялись прохожие, направлявшиеся в церковь, недалеко от моего дома был мост, на котором стоял городской. Держа в руке мою сумочку, я прошла мимо него. Скоро, однако, я вернулась назад и начала ходить взад и вперед недалеко от моего дома. Несколько минут спустя я увидела издали товарища Шпайзмана, идущего медленными, размеренными шагами ко мне. В руке он держал ящик, перевязанный красной лентой: это была бомба. Он прошел по мосту и остановился в 70 или 80 шагах от меня. Я поняла, что он хочет бросить бомбу с того места, где он остановился. Я продолжала ходить взад и вперед недалеко от дома губернатора. Товарищ Шпайзман нагнал меня и прошептал, проходя мимо:

— Я вижу его. Помни, держись подальше от меня, чтобы случайно не разорвалась твоя бомба, когда разорвется моя.

— Хорошо, — прошептала я в ответ. — Прощай, — сказал он и быстро пошел на свое прежнее место.

Я проводила его глазами, слегка обернувшись. Улица по-прежнему была пуста. Вдруг показались казаки верхом на лошадях и между ними карета. Товарищ Шпайзман немедленно сошел с тротуара. В этот момент карета поравнялась с ним. Он поднял руку и бросил бомбу к карете. Бомба упала

Мой особняк был слишком велик для меня одной, и, чтобы предотвратить подозрения, я сказала домовладелице, что ожидаю приезда моей матери и сестры из Варшавы. Я отослала для прописки в полицейский участок мой паспорт учительницы-польки, и он через несколько дней благополучно вернулся. Тогда я телеграфировала тов. Шпайзману. Он был ранен во время еврейского погрома в Одессе после опубликования манифеста и недавно вышел из больницы. Через несколько дней тов. Шпайзман приехал в Чернигов и поселился напротив Благородного Собрания. По имевшимся у нас сведениям, губернатор иногда бывал там.

Сидя у моего окна, я изучала ежедневный порядок жизни губернатора. Я знала, когда он встает и когда ложится спать. Я знала, когда и кого он принимает у себя. Знала даже час, когда он обедал. Целую неделю губернатор не покидал своего дома. Он выходил только на прогулку в сад. Одна с моими мыслями, я ходила взад и вперед по пустому дому. Я проводила много времени” составляя список жертв губернатора. Я собирала, как сокровища, имена тех, кто был им убит или засечен на смерть. Я читала и перечитывала тысячу раз простые рассказы крестьян об его ужасных преступлениях.

Наконец, нам точно стало известно, что губернатор в день Нового года к двенадцати часам выедет в Благородное Собрание, и мы решили убить его на обратном пути.

Был канун Нового года. Я сидела у окна и смотрела на покрытую снегом улицу. Одна только мысль была в моем мозгу: он должен умереть. Все сомнения исчезли. Я знала, я чувствовала, что это случится.

В полночь я осторожно вынула трубку из бомбы, высушила порох и вновь зарядила бомбу.

• * *Бомба эта была начинена каким-то составом., кот орый был дост авлен нам Азефом.*

Я положила четырехфунтовый жестяной ящик в хорошенький, специально для этого купленный ручной мешочек; привела все в порядок, написала письмо и положила деньги для домовладелицы. Потом легла спать: “Я должна спать”, повторяла я себе и, действительно, заснула.

Стук в дверь разбудил меня. Я открыла глаза, и сознание того, что должно было случиться, наполнило мою душу. Послышался второй стук в дверь. Я поднялась и взглянула в окно. Группа замаскированных ребяташек стояла у моих дверей. Я поняла, что они, вероятно, пришли меня поздравить и, согласно обычаю, бросить пшена в комнату. За это обыкновенно они получали несколько копеек.

Он принялся ходить взад и вперед по комнате, глубоко задумавшись. Потом вдруг остановился, как будто вспомнив о моем присутствии, и сказал:

— Но вы не беспокойтесь. Вы увидите — вы будете оправданы.

— Нет, — сказала я, — едва ли возможно, чтобы я была оправдана. Вам наверное известно наше общее решение не защищаться перед царским судом. Вы знаете, когда я писала эти письма, у меня совсем не было определенных намерений. Но после того, как меня продержали в тюрьме эти долгие месяцы, мои мысли сложились определенно, и ничто не может изменить их. И я намереваюсь сказать это открыто царскому суду.

— Мы вполне понимаем вас, — сказали они. Простившись со мной, они ушли, обещав повидаться со мной еще раз до суда.

Наконец долгожданный день суда наступил. Но, узнав, что среди сословных представителей, которые должны были нас судить, находится городской голова Синадино, один из главных организаторов Кишиневского погрома, мы заявили отвод против него, и суд постановил отложить наше дело и перенести его в Одессу.

В отдельном вагоне, в сопровождении жандармов, нас отправили в Одессу. Там нас встретили солдаты и казаки и отвезли в тюрьму. Обстановка Одесской тюрьмы далеко не походила на нашу кишиневскую. Нас рассадили по одиночкам, которые не отличались большими размерами. Сквозь маленькое отверстие в двери можно было видеть висячую лампу в коридоре. Эта лампа освещала также и мою камеру. Узкое окошко с двойной железной решеткой было сделано высоко в стене.

В этой тюрьме мне пришлось провести многие месяцы и перенести тяжелые репрессии, в роде связывания рук, таскания в карцер и т. п. Наше дело слушалось в начале ноября 1903 года. Тюремная карета ожидала нас возле ворот. Два жандарма с саблями наголо уселись по бокам. Окруженная казачьим конвоем, карета быстро катилась по пустынным улицам и, наконец, остановилась перед зданием суда. Жандармы отвели нас в комнату обвиняемых и заперли там. Вскоре дверь открылась, и наши защитники вошли один за другим. Они были больше взволнованы, чем мы, так как ожидали сурового приговора для некоторых из нас. Они даже предполагали, что приговор был предreshен самим Плеве, и чувствовали тщетность своих усилий спасти нас.

В 10 часов жандармы с обнаженными саблями отвели нас в зал суда. Публики там не было. Кроме двух-трех наших родственников, в зале находились только жандармы и шпики.

Судьи вошли, заняли свои места, и суд начался. Секретарь прочел обвинительный акт. Мы обвинялись в устройстве тайной типографии, в печатании “Искры” и возбуждении к бунту.

В ответ на вопрос председателя: “Признаете ли вы себя виновными?”, мы все отвечали “нет”. Тов. Шпайзман и я заявили, что не имели отношения к изданию “Искры”, которая является органом с.-д., и что мы состоим членами партии с.-р.

Все свидетели дали благоприятные показания, кроме официального переводчика моих еврейских писем, местного раввина. Он утверждал, что одно из моих выражений гласило: “Я не успокоюсь до тех пор, пока не пролью крови вампира”, хотя другой, неофициальный, переводчик говорил, что это выражение значит: “Я не успокоюсь до тех пор, пока не прольется кровь вампиров”. Раввин утверждал, что спорное выражение было написано ясно и правильно и что он перевел его точно.

На второй день были речи обвинения и защиты. Прокурор требовал максимального наказания — 12 лет каторжных работ — для всех нас. Когда нам предоставлено было слово, тов. Гольдман произнес блестящую речь, продолжавшуюся полтора часа. Она произвела на судей очень сильное впечатление. Впоследствии речь эта была напечатана и распространена организацией с.-д. Мой защитник Ратнер сказал в своей речи: “Частные письма не могут служить уликой для суда, особенно в том случае, когда в них говорится об общих идеалах и убеждениях. Такие письма имеют отпечаток индивидуального настроения и, следовательно, не могут иметь значения точных улик. Можно ли выбрать произвольно одно заявление и отбросить другое? Верить одному и не верить другому? Мы должны верить Школьник, когда она заявляет, что она социалистка-революционерка, и вторичное утверждение прокурора, что она социал-демократка, совершенно непонятно. Между социалистами-революционерами и социал-демократами большая разница.

Рабочий орган, который, как говорит в своих письмах Школьник, она намеревается издавать, ни в коем случае не может быть “Искрой”. Всякий прекрасно знает, что этот орган издается за границей и стал выходить гораздо раньше того времени, когда Школьник писала свои письма, следовательно, она не могла иметь в виду “Искру”, когда писала о намерении своем и своих друзей выпустить газету...

Что же касается слова “вампир”, то, оставив в стороне сомнительную добросовестность перевода, рассматривать его, как обдуманное намерение совершить террористический акт, — юридически невозможно. Это просто поэтическое выражение террористического настроения, которое охватило в настоящий момент, в силу обстоятельств, не одно

Старый крестьянин оперся скрещенными руками на стол и начал: .

— Когда мы услышали про манифест, мы его поняли так, что нам разрешается взять излишек хлеба у помещиков. Мы собрались всей деревней, пошли к дому помещика, вызвали его и сказали ему:

— Царь издал манифест; там сказано, что мы можем взять у тебя зерно. Дай нам ключ. Мы справедливо поделим и тебя не забудем.

Помещик стал на нас кричать и убежал назад в дом. Мы ждали, но он не выходил. Наконец, мы решили, что он ничего не слышал о царском манифесте. Тогда мы сломали замок, разделили зерно между собой и ушли домой. Это было утром. К вечеру мы слышали шум, собаки залаяли. Мы вышли на улицу и видим: едет важный чиновник, а вокруг него казаки. Мы подумали, что он приехал, чтобы прочитать нам царский манифест. Мы вышли к нему навстречу с хлебом-солью и низко кланялись ему. Он приказал нам собраться на площади. Когда мы собрались, он закричал:

— Кто из вас первый вздумал бунтовать и идти против помещика, выходи вперед. Мы все отвечали ему хором:

— Ваше высокоблагородие, мы не бунтовали, это в царском манифесте сказано, что мы можем взять у помещика хлеб.

— Я вам покажу, — заорал он, подсакивая к нам с нагайкой. — Я покажу вам, что значит царский манифест. Давайте розги! розги!

Первого они схватили Андрея и так секли бедного парня, что он так и остался лежать в грязи. Его несчастная жена плакала, а казаки били ее нагайкой по лицу и ругались. Женщины и дети стали громко плакать. Казаки окружили нас со всех сторон и не позволяли нам расходиться. Они высекли розгами десять человек, и после этого чиновник сказал: — Теперь отнесите хлеб назад в амбар помещика.

— Этого мы не сможем сделать, ваше высокоблагородие, — отвечали мы. — В царском манифесте сказано, что мы можем взять хлеб себе.

— Расстрелять этих собак! — закричал он своим казакам, и они выстрелили залпом. Восемь человек было убито и много ранено. После этого казаки пошли по домам и стали грабить нас. Они оскорбляли наших жен и дочерей, а Савичеву дочку искалечили на всю жизнь.

Пока он говорил, седая голова его тряслась и иссохшие руки дрожали. Мне казалось, что целая вечность прошла с тех пор, как он начал свой печальный рассказ”.

Получив от тов. Николаева все необходимые сведения и деньги, я наняла дом и устроилась недалеко от губернатора. Хвостов жил в конце города. Его дом стоял на пригорке и был окружен садом.

фактически перестала функционировать, я решила уехать в Москву. В Москве я оставалась недолго. Я повидалась с Александром Ивановичем Потаповым и Абрашей Гоцем, которые тогда стояли во главе центральной боевой организации, и они решили, чтобы я поехала в Чернигов совершить покушение на губернатора Хвостова, отличавшегося особой свирепостью в усмирении восставших крестьян. Со мной вместе ехала Нина Глоба, которая посылалась дружиной для того же, но в виду конспирации ни она, ни я не были осведомлены, на что другая посылается.

Прибыв в Чернигов, мы вошли в сношения с местной боевой дружиной, во главе которой был тов. Николаев, старый революционер-каракозовец. Местный комитет вынес решение, чтобы Нина Глоба и тов. Шапиро, тоже посланный из Москвы, пошли работать в деревню, а я оставалась в городе для совершения покушения на губернатора. Тогда я предложила привлечь тов. Шпайзмана к этому делу; товарищи согласились.

В продолжение некоторого времени я встречалась с Ниной Глоба и тов. Шапиро, которые мне передавали об ужасном состоянии крестьян после усмирения. Один из их рассказов особенно запечатлелся в моей памяти. Привожу его почти дословно.

“К вечеру мы пришли в ближайшую деревню. Мы вошли в одну из изб, и хозяин встретил нас очень радушно.

— Поставь самовар, — сказал он жене, которая качала ребенка в колыбели, подвешенной к потолку.

— Ну, Ваня, почему вы так долго к нам не приходили? — спросил хозяин, обращаясь к моему товарищу. — Я был в Москве, — отвечал Ваня. — Что они там порешили? — спросил он. Но вдруг его ласковое, улыбающееся лицо потемнело, и, не ожидая ответа, он сказал:

— Вы слышали, что случилось здесь у нас?

— Да, я слышал, — отвечал мой товарищ, — но я хотел бы услышать всю эту историю от вас.

— Подождите, парни придут, и мы поговорим обо всем, — сказал хозяин. — Принесли вы каких-нибудь книжек? — спросил он.

Мы спустили занавески и выложили на стол принесенные нами брошюры. Хозяин благоговейно стал перебирать их, читая заглавия вслух.

Вскоре изба наполнилась молодыми и старыми крестьянами. Были даже женщины с детьми на руках. Все они хорошо знали Ваню и дружески здоровались с ним.

— Видишь, сколько не хватает наших, — сказал старый крестьянин с белой бородой. — Это после манифеста-то!

— Расскажи Ване все, — сказала сразу несколько голосов.

молодое сердце в России. Было ли написано “вампи́р” или “вампиры́”, для нас не имеет никакого значения, так как в письме выражено абстрактное желание, а за такие желания не наказывал еще ни один суд. Главная мысль обвинения заключается в том, что обвиняемая имела определенные мнения, убеждения и общие намерения, и это понятно, если внимательнее взглянуть на ее жизнь. Работница с пятнадцати лет, живая и смелая, она задумывалась над странным контрастом между положением ее и ее сотоварищей, с одной стороны, и положением заказчиц — с другой, хотя ее собственное умственное превосходство над этими разряженными дамами не могло быть для нее секретом.

Логически рассуждая, не связанная предрассудками, которые не имели на нее влияния, она пришла к определенным выводам. Встречаясь с людьми, более развитыми, она под их влиянием приняла сначала социал-демократическое учение. Но ее свободный, воинствующий дух не мог остановиться на этом и, ознакомившись со взглядами социалистов-революционеров, она присоединилась к ним. На ее месте каждый из нас, несомненно, жаждал бы освобождения и возможности лучшей жизни для себя и для других. Следует заметить, что, несмотря на специфические притеснения, которым она подвергалась, как еврейка, обвиняемая не присоединилась к узко-националистической борьбе. У нее были более широкие взгляды, и интересы всего человечества были для нее дороже. Это талантливая натура, способная на все хорошее. В какой-нибудь другой стране она была бы счастлива, но здесь, среди нас, — увы, это невозможно. Суд может, конечно, осудить ее, но это едва ли будет торжеством правосудия. Это будет еще один плохо продуманный, несправедливый приговор, которых история знает немало”.

После двух томительных дней суда был объявлен приговор: мы были приговорены “к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Сибирь”.

ГЛАВА IV

Мысль о том, что я буду выслана в Сибирь, не пугала меня. Желание уйти из этих ненавистных стен было так велико, что я была бы рада уйти не только в ссылку, но хотя бы в самый ад. Но проходили день за днем, месяц за месяцем, а мы все еще оставались в Одесской тюрьме. На все наши протесты и настойчивые требования отправки тюремная администрация отвечала одно:

— Относительно вас и ваших товарищей мы ждем специальных распоряжений из Петербурга.

Чувство злобы наполняло мою душу, и я не могла говорить спокойно с администрацией.

Противоречивые слухи о войне с Японией стали достигать наших камер. С каждой победой японцев администрация все более ослабляла суровую дисциплину. Терпя поражения, правительство начинало трепетать не только перед внешним, но и перед внутренним врагом. Ослабление тюремного режима, купленное ценой гибели тысяч русского народа, павших в битве, делало нашу жизнь немного легче. Надежда, что японцы помогут нам освободиться от деспотического правительства, давала нам новые силы терпеть и ждать.

В июле 1904 года министр внутренних дел Плеве, этот столп реакции, хваставшийся, что он “очистит Россию от революции”, был убит бомбой, брошенной в его карету Егором Сазоновым, членом боевой организации партии социалистов-революционеров. Эту радостную весть к нам в тюрьму принесла сама администрация. Не только народ, но даже и подчиненные ненавидели его. Назначение Святополк-Мирского министром внутренних дел положило конец — правда, на короткое время — репрессиям, которым подвергались политические.

Вскоре после убийства Плеве мои товарищи и я неожиданно были назначены в партию, которая должна была быть отправлена в Восточную Сибирь. Раньше, чем выйти из тюрьмы, мы узнали, что значит быть лишенными всех прав состояния. Нас вызвали в контору и велели переодеться в арестантскую одежду. Эта одежда меняла человека до неузнаваемости. Когда нас привели назад в камеры, товарищи не могли нас узнать. Я сама испугалась своего вида, когда в первый раз увидела себя в зеркале в этом костюме. В этом было что-то страшно унижительное.

Я ходила по камере, с трудом переставляя ноги в огромных, отвратительных котах. И чувство ненависти к угнетателям росло в моей душе.

На следующее утро моих товарищей и меня выстроили с партией уголовных, осужденных в ссылку в Сибирь за грабежи и убийства, и по четыре в ряд мы пошли по середине грязной дороги к вокзалу.

В последний раз я взглянула на большой город, куда я пришла искать знания и счастья.

“Прощай, родная сторона”... — запели уголовные хором, когда тронулся поезд. Печальная мелодия этой песни, которой аккомпанировал звон цепей, произвела на меня неизгладимое впечатление.

возможность быть все время на улице, не вызывая подозрений. С 7 часов утра до 8 вечера я сидела на камнях на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы, поджидая Клейгельса. Место тов. Шпайзмана было на противоположном углу. Прошла неделя, другая, третья, а Клейгельс все не появлялся. Однажды мимо меня промчались” два верховых казака; за ними следовала закрытая карета, за каретой еще два казака на лошадях. Карета остановилась за церковью, я спряталась за углом. Наконец, Клейгельс появился, но с ним были его жена и сын. Мой взгляд упал в этот момент на Шпайзмана, который стоял у самого входа в церковь. Лицо его выражало отчаяние. Клейгельс, должно быть, знал о том, что Каляев рисковал своей жизнью, но не убил великого князя Сергея, потому что княгиня была с ним, и он тоже воспользовался своей семьей, как щитом. Для нас это представляло непреодолимое препятствие.

Таким образом, и вторая наша попытка была осуждена на неудачу.

К тому времени политическое возбуждение страны достигло неслыханных размеров. Частичные забастовки на железных дорогах и в других общественных и частных предприятиях слились в одну великую всероссийскую забастовку. Весь механизм великой империи остановился. Власти совершенно потеряли голову, и в течение некоторого времени столица управлялась советом рабочих депутатов, избранным рабочими Петербурга. Это открытое и всеобщее восстание принудило царя уступить, и 17 октября 1905 года он издал знаменитый манифест, даровавший России “конституцию”.

Ничего не подозревая, я вышла утром с цветами, как обыкновенно, намереваясь продолжать свое наблюдение за Клейгельсом, когда мой слух был поражен громкими выкриками газетчиков: “Царский манифест! Свобода!”. Вскоре улицы заполнились ликующей толпой. Бросив свою корзинку с цветами, я присоединилась к толпе, шедшей с красными флагами.

На следующий день после опубликования манифеста черная сотня, состоявшая, главным образом, из отбросов городского населения, при содействии тайных агентов полиции, переодетых жандармов и шпионов завладела Киевом. Они грабили и убивали беззащитных обывателей на глазах у солдат и полиции, которые не только не мешали им, но даже помогали.

Чтобы защитить население от этих хулиганов, рабочие организовались в дружины обороны. Я вступила в одну из этих дружин и с револьвером в руках разгоняла пьяную толпу. После двух дней такой работы мое положение в городе стало небезопасным. За мной уже следили. Так как боевая организация с.-р. растерялась после манифеста и на время

произошла на скачках. Он сейчас же начал говорить об истории с Шпайзманом, высказывая явные подозрения на его счет. Несмотря на мои горячие уверения о том, что Шпайзман — преданный революционер, что я его знаю уже несколько лет, он твердил, что Шпайзмана нужно устранить, так как “дело выше всего”. Мне с трудом удалось отстоять тов. Шпайзмана.

Только лишь после открытия предательства Азефа мы поняли, что история с Шпайзманом была не более и не менее, как хитрый маневр Азефа на случай каких-либо подозрений на него. Это был не единственный случай такого рода.

Нашим первым делом предполагалось покушение на генерала Трепова, петербургского генерал-губернатора*.

Первым и главнейшим условием жизни террориста было строжайшее воздержание от сношений с друзьями. Террорист не должен был даже ни с кем переписываться. Единственным основанием этой осторожности была необходимость оградить невинных от правительственных преследований в случае ареста одного из членов организации. Бывали случаи, когда людей ссылали в Сибирь или приговаривали к долгосрочной каторге за одну только записку, которую они написали террористу или сами получили от него.

Эта изоляция и сосредоточенность на одной мысли действовали на меня особенным образом. Мир не существовал для меня. Фотография Трепова была для меня символом всех несчастий России, и его смерть — единственным средством против них. Моя мысль не могла представить ясную картину того, что неизбежно ожидало меня. Тот факт, что я жертвовала собственной жизнью не имел для меня никакого значения. Я даже не думала о своей смерти. Но мысль о его смерти, о смерти того, кого я считала причиной тысяч смертей, никогда не покидала меня.

Наконец, после целого месяца томительного ожидания товарищ принес мне неприятную весть о том, что Трепов каким-то образом узнал о намерении боевой организации и принял чрезвычайные предосторожности: он никого не принимал и почти не выходил из дому. Исполнительный комитет решил отложить покушение до тех пор, пока не представится более удобный момент.

Нам с тов. Шпайзманом тогда поручили организовать покушение на киевского генерал-губернатора Клейгельса, который жестоко подавлял всякое проявление недовольства среди крестьян, рабочих и студентов, организовывал еврейские погромы и сделался ненавистным всем.

Было решено, что мы поселимся в Киеве, тов. Шпайзман как уличный разносчик, а я — как продавщица цветов. Эти занятия давали нам

Грязный арестантский вагон был переполнен до последней возможности. Арестанты устраивались поудобнее и так свободно чувствовали себя в этой обстановке, что было очевидно, что не в первый раз им приходилось совершать это путешествие. Кормовых, выдававшихся арестантам, хватало только на хлеб с селедкой. Но крестьянки, — главным образом, уже в Сибири, — встречали поезда и подавали милостыню арестантам, передавая им хлеб, молоко, пироги и проч.

Когда мы приехали в Киев, нас поместили в пересыльную тюрьму. Мы спали на грязном полу, подстелив свои халаты. Нас продержали там два дня и не выпускали даже на прогулку. В нашей камере было пятьдесят человек — двадцать пять женщин и столько же детей. Некоторые дети заболели, и их родители жили в постоянном страхе, что они умрут от недостатка воздуха. Гольдман просила начальника тюрьмы позволить ей вынести ее больного ребенка на несколько минут во двор, но единственным ответом начальника было:

— Пересыльных не полагается выводить во двор на прогулку. Завтра вас отправят.

Из Киева мы были перевезены в Курск, а оттуда отправились в Воронеж. Меняя, таким образом, переполненный арестантский вагон на пересыльную тюрьму и пересыльную тюрьму на арестантский вагон и останавливаясь в каждом большом городе, мы переехали, наконец, через Урал и после трехнедельного путешествия остановились в сибирском городе Тюмени.

Джордж Кеннан, известный американский писатель, описывает пересыльную тюрьму в Тюмени такими словами:

“Я осмотрел камеру. В ней не было никакой вентиляции, и воздух был так отравлен, что я с трудом мог дышать. Мы обошли одну за другой шесть камер или одиночек, совершенно похожих одна на другую, и в каждой из них нашли заключенных в три и в четыре раза больше того количества, для которого они предназначались, и в пять и в шесть раз больше того, сколько полагалось соответственно ее кубатуре. В большинстве камер не хватало приспособлений для спанья для всех заключенных, и многие спали по ночам на грязном полу, под нарами и в проходах между нарами и стенами”...

В этих бараках нас продержали три месяца. Там свирепствовали тиф и другие эпидемические болезни.

Уже началась зима, когда мы снова отправились в путь. ‘ Арестантский вагон был еще более грязен и переполнен, чем в Европейской России. Жестокий сибирский мороз делал нашу поездку еще более трудной. Здесь

были те же обычные остановки на один или два дня в пересыльных тюрьмах, то же хождение туда и обратно в полуразорванных башмаках по дорогам, покрытым льдом и снегом.

Здесь мы узнали место нашего назначения. К моему ужасу я была назначена одна в село Александровское, Енисейской губернии. Я стояла перед начальником, слушала его и не могла поверить, что я буду разлучена с товарищами и отвезена одна в далекую пустынную деревушку.

Из Красноярска нас перевезли в Канск. Мы пришли в тюрьму вечером. Барак, в котором нас поместили, не отапливался, очевидно, в течение долгого времени, так как лед и снег лежали на полу и по стенам. Мы попросили у надзирателя дров и развели в печи огонь. Когда дрова сгорели, мы закрыли трубу и улеглись спать. Ночью раздался плач ребенка. Некоторые из нас слышали его крик, но не могли двинуться с места. Привлеченный криком ребенка, надзиратель подошел и окликнул нас; не получая ответа, он открыл дверь. Тут он понял причину нашего молчания: камера была наполнена угаром, и все мы лежали без памяти. Немедленно он позвал надзирателей, которые вывели нас на снег и подали первую помощь. Как только мы пришли в себя, нас отправили на место назначения. Гольдманы были отправлены в село Рыбинское, Енисейской губернии. Сначала отправили их. Затем забрали меня.

Два солдата сопровождали меня до первого этапа и сдали под расписку уряднику. Урядник позвал сельского старосту и приказал ему достать лошадь. После долгих споров крестьяне дали старую лошаденку, и я под охраной деревенского стражника отправилась в Александровское. В каждой деревне, которую мы проезжали на нашем пути, крестьяне, особенно женщины, с любопытством смотрели на меня. Узнав, что я ссыльная, они кормили меня: в одной деревне крестьянка дала мне даже пару валенок, так как все время я страшно страдала от холода.

Наконец, мы приехали в волость, к которой принадлежало Александровское. Там урядник и волостной писарь вскрыли бумаги, которые стражник вез в запечатанном конверте.

— Здесь имеются специальные инструкции относительно вас, — сказал мне писарь.

— Что же это за специальные инструкции? — спросила я.

— Здесь сказано, что вы должны находиться под особым надзором, — ответил он.

Эту ночь я спала в доме писаря, а на следующий день он отвез меня в Александровское, которое находилось верстах в 18 от волости. Деревня состояла приблизительно из тридцати хат и была населена большей

Стать членом террористической организации было делом довольно трудным. Принимались только люди с установленной революционной репутацией. С сомнением в душе я приехала в Женеву. К счастью, я нашла там тов. Шпайзмана, который бежал из Сибири на несколько недель раньше меня и успел уже связаться с людьми, имевшими близкое отношение к боевой организации. С его помощью я добилась свидания с Савинковым и Азефом.

Своей таинственностью и заговорщическим видом они произвели на меня удручающее впечатление. Богатая обстановка, в которой они жили, давила меня. Она не соответствовала моим понятиям о революционерах.

Скоро Савинков назначил мне свидание с Азефом. Азеф пришел ко мне на квартиру. Я жила в очень крошечной и бедной комнатке, и его крупная фигура особенно выделялась там. Толстый, высокий, с маленькими бегающими глазами, он почти внушал мне страх, и я чувствовала к нему некоторое чувство брезгливости.

Таинственно помолчав немного, он обратился ко мне с вопросом:

— Почему вы решили иступить в боевую организацию? Я стала горячо доказывать ему необходимость активной борьбы с самодержавием.

— Вы хорошая агитаторша и этим путем вы можете больше сделать.

Он расспрашивал о моей личной жизни, о моих родных и ушел, оставив меня в полном недоумении и неизвестности насчет приема меня в боевую организацию. Через несколько дней Савинков послал меня в Париж к Азефу. Азеф жил на одной из лучших улиц, занимал роскошную квартиру. Его жена произвела на меня очень благоприятное впечатление. Я провела у них несколько дней, а затем она поместила меня в пансион. В эти несколько дней я видела Азефа очень редко. Дома он оставался таким же молчаливым, как и вне дома.

Наконец, приехал Савинков и сообщил мне, что Шпайзман и я приняты в боевую организацию. Всю подготовительную работу по нашей поездке в Россию мы вели с ним.

Первым в Россию поехал Шпайзман. Он вез с собою бомбы и револьвер. На границе он был задержан. Его обыскали и, несмотря на то, что у него нашли бомбы и оружие, отпустили. Через несколько дней я отправилась, тоже имея при себе бомбы и револьвер, и благополучно перешла границу. В Вильне я встретила тов. Шпайзмана, и он рассказал мне эту странную историю на границе.

Я поселилась в Друскениках, где должна была ждать Савинкова. Когда он приехал и я рассказала ему инцидент с Шпайзманом на границе, Савинков заподозрил последнего. Вскоре я получила приглашение явиться в Нижний Новгород для свидания с Азефом. Наша встреча

Когда мы приехали в Челябинск и пересели в другой поезд, наш вагон вдруг заперли, начали выводить пассажиров поодиночке и проверять паспорта. Я держала ребенка на руках, и жандармы пропустили меня, не задав мне ни одного вопроса.

В начале марта я приехала в Вильну и, вручив ребенка его бабушке и дедушке, отправила условную телеграмму Гольдману. Находясь на небольшом расстоянии от моего родного дома, я решила повидаться с родными. Мне так захотелось их видеть, что я бросила все рассуждения об осторожности и благоразумии. В тот же самый день я отправила к ним товарища с письмом, и через несколько дней они явились ко мне. Радость свидания, казалось, заставила нас забыть все прошлые горести.

— Я больше не отдам тебя им, — повторяла моя мать, не пытаясь даже утереть слезы, которые бежали ручьями по ее лицу.

Отец вынул 50 рублей и сказал мне: — Я занял эти деньги. Возьми их и поезжай за границу. Там ты будешь в безопасности.

— Отец, я не могу сделать этого. То, что сделали со мной и с тысячами других, не должно оставаться безнаказанным. Я не могу этого так оставить.

Отец взял мою голову в свои руки и посмотрел мне прямо в глаза.

— Боже мой, что они с тобой сделали? Ты даже не плачешь, и в твоих глазах так много ненависти, которая не исчезает даже в присутствии твоих старых родителей.

— Я не могу, я не могу, — повторяла я. Руки отца прижимали меня все крепче и крепче к его груди.

— Смотри, — сказал он со слезами в голосе, — каким седым сделали меня три года твоего заключения. Что с нами будет, если ты снова попадешь в тюрьму?

На следующий день отец и мать уехали домой. Я села в поезд, идущий на Минск. Оттуда контрабандист-еврей проводил меня к австрийской границе. Просидев три дня в маленьком пограничном местечке, я благополучно перешла границу в Бродах.

ГЛАВА V

Я решила ехать за границу. Я слышала, что лидеры боевой организации нашей партии находились в то время в Женеве. Моим намерением было войти в боевую организацию и стать террористкой. Моя собственная жизнь и жизнь моих товарищей привела меня к убеждению, что мирные методы борьбы с самодержавием больше невозможны.

частью переселенцами из России. В доме старосты, куда меня сначала отвел писарь, собрались крестьянки и крестьяне и стали обсуждать вопрос о том, как меня устроить. Женщины стояли, сложив руки на груди, и сочувственно качали головами. Некоторые из них предлагали поместить меня в своем доме. Один старик-крестьянин, который стоял, задумчиво пощипывая свою длинную седую бороду, сказал:

— Я понимаю так, что она прислана к нам на всю жизнь и мы можем делать с нею, что хотим. Правильно я понял? — обратился он к писарю, который объяснял крестьянам, как нужно обращаться со мной.

Наконец, после долгих споров, было решено, что я буду жить в доме церковного сторожа. Урядник приказал стражнику являться каждый день ко мне, чтобы удостовериться в моем присутствии. Уезжая, он предупредил крестьян:

— Помните, что вы все за нее отвечаете. Крестьяне гурьбой проводили меня в дом церковного сторожа.

Долго еще женщины продолжали мне выражать свое сочувствие и симпатию, говоря: “Несчастливая сиротка”. Их горячее сочувствие объясняется тем, что они сами были из России и видели во мне “землячку”, свежего человека с их родины, по которой они сильно тосковали. Наконец, я осталась одна. Когда они называли меня “сироткой”, я и в самом деле чувствовала себя очень одинокой, совсем одной в целом мире. Я села, безнадежно оглядываясь вокруг, и чувство жалости к самой себе наполнило мою душу. Но окружающее не дало возможности этому чувству разрастись. Я жила в одной хате с хозяевами, и крестьяне не оставляли меня ни на минуту в покое.

Мой хозяин, седой как лунь старик, подошел ко мне и спросил: — Ты умеешь читать?

Получив утвердительный ответ, он вытащил из кармана письмо. Оно было от его сына, солдата маньчжурской армии.

Весть о том, что я умею читать, быстро облетела деревню. Крестьяне подбирали каждую бумажку, на которой было что-нибудь написано или напечатано, и несли мне, чтобы я им прочла. Они окружали меня со всех сторон и слушали с большим вниманием каждое сообщение о войне. Они были кровно заинтересованы в этих сообщениях, так как почти каждый из них имел на полях сражений сына, мужа или брата, от которых они не получали ни слова в течение месяцев, и были в отчаянии.

Вскоре ко мне стали приходить женщины, принося кувшины с молоком, кринки с маслом и с другими приношениями, и стали просить меня писать письма их сыновьям и мужьям. Слушая скорбные речи этих старых матерей и молодых жен, которые в отчаянии хватались за всякую

надежду, что их любимые не убиты, а только ранены и изувечены на всю жизнь, глядя на маленьких сирот, которые уже знали, что не увидят никогда своих отцов, я забывала о себе и думала только о том, что я могла бы сделать, чтобы облегчить их тяжелое горе. Но, к моему большому огорчению, я не могла. Придумать, чем бы я могла быть им полезной: все, что я могла сделать, это писать письма людям, которых, может быть, уже не было в живых.

Спустя несколько времени после моего приезда, ко мне пришел деревенский священник. Это был с виду крепкий человек веселого нрава и, должно быть, большой любитель выпить. Он заговорил со мной отеческим тоном:

— Вы только не отчаивайтесь. Ничего нет вечного на этом свете, — ответил он на мое заявление о том, что я сослана сюда не на определенный срок, а на всю жизнь.

— Моя дочь собирается выйти замуж, — продолжал он, — и здесь нет никого, кто мог бы ей сшить платья, и потому вам лучше было бы перейти к нам и помочь ей в шитье.

Я согласилась, потому что рада была заработать как-нибудь себе на хлеб.

Я была уже не в тюрьме, не видела тюремных стен, но я не чувствовала себя свободной. Бесцельная жизнь в отдаленной сибирской деревне казалась мне еще хуже, чем в тюрьме. Крестьяне вместе с священником пьянствовали обычно в течение двух-трех дней в неделю. Они оставляли все свои деньги в казенной винной лавке, а когда у них не было больше наличных денег, закладывали все, что попадалось им под руку в доме. Казалось, только водка и дает им возможность забыть нищету их жалкого существования. В эти “пьяные” дни я забивалась в угол, чтобы никто не мог меня видеть, и смотрела на снежные сугробы, которые отделяли меня от всего остального мира.

“Надо бежать, надо бежать отсюда”, — все более и более настойчиво раздавался во мне внутренний голос.

Волостной писарь, урядник и стражник были единственные люди, на которых была возложена обязанность стеречь меня. Но они, по-видимому, довольно небрежно относились к своей обязанности. Как видно, они думали, что огромный, густой лес был для меня самым лучшим сторожем.

“Бежать, бежать”, — повторяла я себе в длинные, бессонные ночи, глядя в темноту и строя длины один фантастичнее другого.

В это время весть о “кровавом воскресеньи” достигли нашей деревни. Дрожащими руками держала я письмо и читала крестьянам, как рабочие в Петербурге, руководимые Гапоном, пошли просить своего царя улучшить

— Слушайте, — обратилась я к Гольдману, — я возьму вашего ребенка с собой, а потом уедете и вы. Полиция будет искать меня одну, а вас с ребенком, и такая перемена ролей спасет нас всех.

Мгновенно их печальные лица озарились надеждой. — Боря, — сказала я мальчику, — хочешь поехать со мной к бабушке?

— Да, хочу, — отвечал он с решительным видом, — Я поеду, и мама поедет, и папа поедет. Я не хочу быть здесь: здесь холодно.

Через несколько часов дело было устроено. Я должна была отвезти ребенка к его бабушке в Вильну. Гольдманы должны были бежать, получив от меня извещение о том, что все обошлось благополучно.

Вечером Гольдман нашел крестьянина, который согласился отвезти нас в ближайшую деревню. Следующий день мы провели в приготовлениях к отъезду. Как только стемнело, возница пришел за нами. Мать обняла своего ребенка в последний раз. — Скорей, скорей, — торопил нас возница. Гольдман взял ребенка на руки, поцеловал плачущую жену, и мы вышли. Ночь была тихая и холодная. Снежные сугробы покрывали землю. Мы быстро шли, и снег скрипел под нашими ногами. В конце деревни стояли наши сани. Лошади нетерпеливо рыли копытами снег.

Сани быстро катились по гладкой дороге. Лошади бежали, возчик напевал песню. Я прижала ребенка к груди, прислушиваясь к его мерному дыханию. Скоро возница вылез из саней и побежал рядом с лошадьми, стараясь согреться. Я не решалась двинуться, боясь обеспокоить ребенка, который скоро уснул.

В 4 часа утра мы приехали: в деревню и постучали в дверь крестьянской избы. Нас впустили. На вопросы, откуда я и куда я еду, я жалобным голосом отвечала, что ребенок остался сиротой и я везу его к его бабушке и в Россию.

Останавливаясь таким образом ночевать в крестьянских избах, мы, наконец, благополучно прибыли на станцию Ольгинск, где я села на поезд.

Долгая поездка в Вильну прошла без серьезных событий. Ребенок служил мне великолепным прикрытием от внимательных глаз жандармов. Шпионы, которые шныряли на каждой большой станции, не обращали на меня никакого внимания. Они, очевидно, не могли додуматься до возможности такой комбинации. Раз только Боря меня чуть не выдал. Я не хотела исполнить какое-то его желание, и он вдруг громко заявил мне: “Если ты не сделаешь, как я хочу, тогда я тебя буду звать Маня Школьник, а не Саша” (По паспорту я была “Саша”). После этого мне пришлось сдаваться на его требования и не слишком выводить его из себя.

Рыбинском, и я решила держать путь в этом направлении. Я боялась просить о помощи крестьян, несмотря на их расположение ко мне. Кроме того, я знала, что если начальство узнает, что кто-то отвез меня в Рыбинское, то бедные крестьяне будут отвечать за мой побег. Мне оставалось только одно, — пройти пешком расстояние в 70 верст, которое разделяло эти два села. Дорогу в Рыбинское я знала довольно хорошо.

Через несколько времени после моего приезда из Иркутска, в сумерки, одевшись как могла теплее, с несколькими кусками хлеба, завязанными в платок, я отправилась по дороге в Рыбинское. Вся деревня уже спала, но мне казалось, что сами хаты следят за мной. Каждый звук заставлял мое сердце биться сильнее, и я оглядывалась по сторонам, ожидая увидеть погоню. Скоро я дошла до края деревни. Гладкая, серебристая дорога простиралась передо мной. Я выпрямилась, вдохнула полной грудью чистый морозный воздух и ускорила шаг. Страх мой исчез. Спокойно смотрела я на покрытый снегом лес, который стоял по обе стороны дороги, и шла все скорей и скорей, мечтая о свободе для себя и для моей родины.

Не знаю, как долго я шла. Помню только, что острое ощущение голода прервало мои мечты. Я принялась уничтожать свой хлеб кусок за куском, не замедляя шагов. Вдруг я услышала стук лошадиных копыт за собой. Не останавливаясь ни на минуту, чтобы подумать, я повернула к лесу, но сани были уже возле меня раньше, чем я успела скрыться в лесу.

— Куда вы идете? — спросил меня голос. Я оглянулась. Это был крестьянин из ближней деревни. Он хорошо знал меня.

— Я иду в Рыбинское, — отвечала я безразличным тоном, — у меня не было денег, чтобы нанять лошадь.

— Садитесь, — сказал он. — Я тоже еду туда и могу вас подвезти.

Через несколько часов я была уже в доме Гольдманов. Маленькие ручки ребенка обнимали меня.

— Я тебя не пушу больше от нас, — говорил он, глядя меня по щеке.

Когда я им сказала, что решила бежать, они обрадовались за меня.

— И нам следует во что бы то ни стало выбраться отсюда, — сказал Гольдман. Он прошелся по комнате, не будучи в силах совладать с охватившим его волнением.

— Как вы можете бежать с ребенком? — сказала я. — Вас сейчас же узнают.

— Да, только это и удерживает нас здесь, — ответил Гольдман.

Я мысленно жалела о том, что такой активный работник, как Гольдман, должен оставаться в глухой деревушке из-за ребенка, и счастливая мысль вдруг осенила меня.

условия их жизни, как они шли со своими женами и детьми, неся иконы и портрет царя, и пели патриотический гимн; как они были вдруг, без всякого предупреждения, обстреляны, как казаки топтали их своими лошадьми и били шашками и нагайками, как улицы Петербурга превратились в поле битвы, где валялись сотни убитых и умирающих... Здесь крестьяне остановили меня:

— Возможно ли, — сказали они, — чтобы царь мог сделать это? Уж не виноваты ли его министры?

Подумав, они снова просили меня читать им все сначала. В этот день их вера в царя была разбита, и они открыто высказывали свою симпатию ко мне, непосредственной жертве его деспотического правления.

Для меня тот факт, что петербургские рабочие пошли просить царя об улучшении их жизни, имел совсем другое значение. Я видела в этом пробуждение масс трудящихся и смотрела на это выступление, как на предвестие великой революции, которая должна была потрясти царский трон.

“Не может быть, чтобы кровь детей, пролитая на улицах Петербурга девятого января, осталась неотомщенной”, — думала я. Я видела, что русский народ не может дольше сносить гнет царского ига, что в России готовятся большие перемены, и я твердо решила бежать и присоединиться с оружием в руках к борьбе за свободу моей угнетенной страны.

Волостной писарь был интеллигентный, добрый человек и открыто проявлял свою симпатию ко мне. У меня явилась мысль просить его достать для меня разрешение у урядника съездить в Канск. Я надеялась найти там товарищей, которые могли бы оказать мне помощь деньгами и паспортом.

— Да, — сказал он в ответ на мою просьбу, — я достану вам это разрешение. Но если вы убежите, ответственность падет на меня, так как я уверен, что урядник постарается доказать так или иначе, что я с вами был в заговоре.

— Вы знаете, что я отец четырех детей, — продолжал он, — но если вы мне дадите честное слово, что вы вернетесь, я постараюсь убедить урядника дать вам разрешение поехать в Канск на несколько дней.

Мне было трудно принять его предложение. Если я дам ему слово, я должна буду вернуться, а между тем единственной целью моей поездки был побег. Два дня я старалась найти выход из этого затруднения, но в конце концов решила согласиться на его условия. Было абсолютно необходимо съездить в Канск и достать денег и паспорт, без которых мне нечего было и думать о побеге.

Мы пошли к уряднику, и после немалых расспросов он согласился пустить меня в Канск на несколько дней.

В начале февраля 1905 года я покинула деревню, отправившись в телеге с крестьянином, который ехал в город по своим делам. У меня не было никакого адреса, я даже не знала, есть ли политические ссыльные в Канске. Крестьяне Александровского уверяли меня, что там мало “господ”. Как я позже узнала, политики назывались там “господами”.

Мы приехали в Канск. За две копейки встречный мальчик свел меня к кузнецу. Высокий мужчина в синей рубаше, с руками и лицом, покрытыми сажей, принял меня с дружеской улыбкой. Я назвала ему себя, и он повел меня в свой дом. Я объяснила ему цель своего визита.

— К сожалению, — сказал товарищ, — едва ли вы чего-нибудь добьетесь в нашем городе. Здесь есть только шесть человек политических и все они голодают. Единственное, что мы можем здесь сделать для вас, — это дать вам рекомендательные письма к иркутским товарищам. Их там теперь много, и наверное они вам помогут.

Несколько часов спустя в доме этого товарища собралась вся колония ссыльных Канска. Они принялись обсуждать дело и решили, что мне нужно ехать прямо в Иркутск. На свои последние деньги они купили мне билет туда, и в тот же вечер я села в поезд с рекомендательными письмами в кармане.

После двух дней езды я приехала в Иркутск. Когда извозчик остановился против богатого дома на главной улице, я поколебалась с минуту. “Что, если меня не впустят?” Я позвонила. Хорошенькая молодая девушка открыла дверь; она попросила меня присесть в приемной. Скоро вышел пожилой человек невысокого роста. Он спросил меня, кто я и что мне нужно. Убедившись в том, что я действительно та, за кого выдаю себя, он пожал мне руку и предложил мне пройти к его жене и детям.

Этот товарищ К. был старый революционер, высланный в Иркутск много лет тому назад. Несмотря на свое “прошлое”, в то время он занимал в Иркутске большую должность. В этот же день он вручил мне сто рублей и паспорт, в котором значилось, что я “дочь купца”. Такой паспорт для Сибири был так же хорош, как и настоящий, так как документы там не подвергались особенно тщательному просмотру. Жена товарища К. помогла мне переодеться в платье ее дочери и подарила мне часы. Одним словом, я стала неузнаваема.

Необходимо было вернуться в Александровское. Я знала, что писарь будет беспокоиться по поводу моего долгого отсутствия. Я не хотела пока думать о том, как я убегу после моего возвращения: затруднения казались мне непреодолимыми, но я дала честное слово и должна была вернуться.

С грустью в душе я попрощалась с милыми товарищами. Один из сыновей К. поехал со мной до Канска, так как они боялись, чтобы меня не арестовали по дороге.

В отделении вагона — мы ехали вторым классом — было два армейских офицера. Они подружились с моим спутником и угощали его водкой и папиросами. В их поведении не было ничего такого, что могло бы возбудить у нас подозрение.

Когда наступила ночь, я улеглась на своей скамье. Мысль о том, что я еду назад, в эту заброшенную деревню, не давала мне покоя. Вдруг я почувствовала, что кто-то дернул цепочку, на которой висели мои часы. Я открыла глаза и, к великому моему ужасу, увидела того самого офицера, который был так любезен со мной несколько часов тому назад. В одной руке у него была моя сумка, в которой лежало сто рублей и паспорт. Я громко вскрикнула. Офицер схватил меня за горло и стал душить. Я потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, моя первая мысль была о том, что деньги и паспорт пропали. Я слышала, что возле меня говорят люди, но не имела желания смотреть на них.

“Зачем они не дали мне умереть? — думала я. — Что я буду делать без денег и паспорта?”

Я не могла пошевелить головой, мне казалось, что пальцы все еще сжимают мне горло.

На первой же станции нас отвели в жандармское отделение. Те два офицера были уже там. Оказалось, что это беглые уголовные каторжане с Сахалина, перерядившиеся офицерами.

— Почему вы хотели меня убить? — спросила я. — Разве вы не видели, что я небогата?

— А зачем вы кричали? — был ответ.

— Мне нужно было спасти себя.

— В конце концов я же не задушил вас на смерть.

Сумка с деньгами и паспорт были мне возвращены. Своим спасением я обязана была сыну К., который первый кинулся ко мне, когда бродяга начал душить меня.

После долгого отсутствия я вернулась в Александровское. Волостной писарь и урядник были в восторге при виде меня.

— А мы уже думали, что вы не вернетесь, — сказал мне урядник, улыбаясь.

Вопрос о том, каким образом мне убежать, не оставлял меня ни на минуту. Единственные люди, от которых я надеялась получить необходимые сведения, были Гольдманы, которые жили в селе